



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [А. Каменский](#)
 -
 - [Глава I. Раннее детство](#)
 - [Глава II. Школьные годы](#)
 - [Глава III. В университете](#)
 - [Глава IV. В парламенте](#)
 - [Глава V. Переходный период](#)
 - [Глава VI. Крымская война](#)
 - [Глава VII. Не у дел](#)
 - [Глава VIII. Финансовый триумф](#)
 - [Глава IX. Гладстон и клерикалы](#)
 - [Глава X. Геройское законодательство](#)
 - [Глава XI. Русско-турецкая война и второе министерство Гладстона](#)
 - [Глава XII. Личность Гладстона](#)
 - [Источники](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

А. Каменский

Уильям Юарт Гладстон

Его жизнь и политическая деятельность

Биографический очерк

*С портретом Гладстона, гравированным в
Лейпциге Геданом*



Глава I. Раннее детство

Гладстон и Бисмарк – два самых крупных государственных человека XIX столетия. И хотя оба они принадлежат к одному и тому же поколению – первый родился в 1809 году, а второй в 1815-м, – но олицетворяют собою два совершенно различных течения. В то время как последний и родился, и действовал, и, можно сказать, в конце концов сошел со сцены узко-немецким аристократом и шовинистом, – первый и по происхождению, и по складу ума, и по самому своему политическому призванию представляет прогрессивную часть английского среднего класса и всесветное стремление XIX века к личной свободе и равноправию. Проследить жизнь и деятельность Гладстона с начала до конца – значит изучать историю прогрессивного движения в английской государственной жизни по крайней мере за последние шестьдесят лет, так как он вступил в парламент в 1832 году и до сих пор еще продолжает стоять во главе либеральной партии и даже отчасти английской демократии.

Хотя Уильям Юарт Гладстон появился на свет в купеческой семье в самом центре Англии – Ливерпуле, в жилах его течет чисто шотландская кровь, и ни английское воспитание, ни школа не изгладили из его характера некоторых совсем не английских черт, которыми его противники любят объяснять отсутствие в нем узконационального патриотизма. Его предки прежде (в XIII в.) были рыцарями короля Эдуарда I и жили в Ланаркшире в своем имении Глэдстейнс – Ястребиные скалы, – от которого и заимствовали свое изменившееся потом имя. Но с тех пор обстоятельства изменились: род обеднел, имение было продано, и прадед нынешнего Гладстона уже занимался торговлею солодом в одном шотландском городке, а дед его, Томас Гладстон, переехал в конце прошлого столетия в порт Лейт и там вел довольно обширную торговлю хлебом, нажил состояние и, умирая, оделил 16 своих детей приличным наследством.

Старший сын его, Джон, отец Уильяма, вместе с доброй долей состояния унаследовал от отца и характер – в высшей степени деятельный, предприимчивый и решительный, а также светлую голову. Вообще, это был недюжинный человек. Еще в раннем возрасте он начал принимать участие в торговых делах отца и, приехав однажды в Ливерпуль продавать хлеб, встретился там с неким купцом Корри и произвел на него такое благоприятное впечатление, что тот предложил ему вступить с собою в компанию; предложение было принято. Джон Гладстон, отделившись от

отца, переселился в Ливерпуль и сделался впоследствии одним из самых крупных коммерческих воротил главного атлантического порта Англии. Он вел обширную торговлю с Россией и Вест-Индией, где у него были свои плантации сахарного тростника, обрабатывавшиеся неграми-рабами, – обстоятельство, которое чуть было не испортило политическую карьеру его сына в самом ее начале. А когда была уничтожена монополия Ост-Индской компании и в Индию был открыт свободный доступ всем частным судам, фирма Джона Гладстона стала одной из первых, воспользовавшихся этим новым торговым рынком, и начала посылать свои грузы в Калькутту.

Но не в одной только коммерции пользовался весом отец Гладстона. Отчасти по необходимости, а больше по естественной склонности он принимал деятельное участие и в политических событиях начала текущего столетия. Громадная стоимость войн с Наполеоном, а еще больше – “континентальная система” узурпатора, объявившего не только блокаду всех английских портов, но и войну всем судам, заходящим в английские порты, – привели к тому, что торговля Ливерпуля в один год уменьшилась на целую четверть своих оборотов. При таких обстоятельствах очень естественно, что не было ни одного политического вопроса, касавшегося Ливерпуля, в котором Джон Гладстон не принимал бы деятельного участия.

Кроме того, отец Гладстона в течение девяти лет (с 1819 по 1827-й) был членом парламента от разных округов, но не от Ливерпуля, который он считал слишком важным центром, чтобы его мог представлять такой аматер^[1] в политике, как он.

Вначале Джон Гладстон был вигом, то есть стоял за умеренную реформу во внутренних делах и за поддержание Англией всех угнетенных народов во внешней политике, но под старость сделался либеральным консерватором и деятельно поддерживал в Ливерпуле кандидатуру тогдашнего вождя этой небольшой партии – Каннинга. Этот талантливый министр, по всей видимости, был с Гладстоном-отцом в очень близких отношениях; приезжая в Ливерпуль, он всегда останавливался у него, был в доме почетным гостем и имел влияние на образ мыслей не только отца, но – в ранней его молодости – и Уильяма. Когда происходили первые выборы Каннинга в Ливерпуле в 1812 году, мальчику было всего три года, и есть биографы, которые утверждают, что его политическое воспитание началось уже с этого возраста. Отец вместе с Каннингом выступал против реформы избирательных прав 1832 года, потому что “она заходит слишком далеко”, что “на влияние собственности обращается слишком мало внимания”, что “ценз должен изменяться при различных обстоятельствах” и так далее. С другой стороны, в вопросах иностранной политики они оба агитировали,

писали и говорили в пользу угнетаемых стран, таких как Греция, южноамериканские республики и другие.

В доме отца дети привыкли произносить имя Каннинга с особенным уважением, они видели в нем образец высшей мудрости, достойной всякого подражания; для них это было светило, время от времени освещавшее их семейный быт. Вот почему позднее мы увидим, что на политическую карьеру Гладстона большое влияние оказал взгляд на политику Каннинга, а некоторые черты Каннинга-политика сохранились в Гладстоне и до зрелой поры.

Сам Гладстон пишет о своем отце: “Даже под старость его глаза никогда не были тусклы, никогда не было заметно в нем упадка физических сил; он был полон умственной и телесной силы. Что бы ни приходилось ему делать, он всегда отдавал этому делу все свои силы. Он никогда не мог понять тех, кто, видя перед собой какое-нибудь хорошее дело, не принимается за него тотчас же самым деятельным образом; и со всей этой энергией в нем соединялась соответствующая мягкость, можно сказать, жажда человеческого тепла; тонкое чувство юмора, в котором он находил свой отдых, и необыкновенные открытость и простота характера, которые, перекрывая все другие его качества, сделали его для меня (совершенно помимо моих родственных отношений к нему), кажется, самым интересным стариком, какого я когда-нибудь встречал”.

В домашнем быту это был человек в высшей степени общительный, разговорчивый; как он сам любил, так и детей учил все подвергать всестороннему обсуждению, обо всем вести длинные дебаты, – все равно, будет ли это вопрос о завтрашней погоде, о том, где повесить картину, следует ли убивать ос, или самые сложные проблемы политики и финансов. Рассказывают, например, такой случай: нужно было вбить гвоздь в стену, чтобы повесить какую-то новую картину. Призвали слугу с лестницей и молотком вбивать гвоздь, но куда? – вот вопрос: мистер Вилли желает в одну стену, а мисс Мэри – в другую, начинается спор и тянется довольно долго; наконец, мнение мисс Мэри берет верх, вопрос решен, и гвоздь вбит. Но слуга приставляет лестницу к противоположной стене и вбивает в нее другой гвоздь, а когда его спрашивают, зачем он это сделал, тот совершенно серьезно отвечает: “А на тот случай, мисс, если через некоторое время возьмет верх мнение мистера Вилли”.

Особенным искусством в таких дебатах с малых лет отличался тот же мистер Вилли, или Уильям, причем отец всегда говорил: “Так, так, Вилли, хорошо сказано, ловко выражено!” Вот где было заложено основание диалектическим талантам будущего парламентского оратора. Впрочем,

влияние деятельного отца на него выражалось далеко не в одном этом: он в избытке наделил сына своей привычкой к труду и замечательной выдержкой в достижении практических целей. Однажды, будучи еще мальчиком, Уильям вместе с товарищами в имении отца занимался стрельбой из лука. Уже вечерело, а нужно было собрать все расстрелянные стрелы. Все были собраны, кроме одной, которую Уильям никак не мог найти, несмотря на все свои усилия: все видели, где она упала, но найти не могли. Становилось темно. На другое утро он встал раньше всех и после двухчасовых поисков с триумфом принес стрелу домой, говоря: “Я был уверен, что найду ее, если примусь за дело как следует, но вчера это казалось мне слишком долгим, ну и не находил, а вот сегодня принялся – и нашел!” “Молодец, Вилли, вот это правильно!” – сказал слышавший это отец. “Всякое дело, – часто говаривал он детям, – если оно начато, необходимо доводить до конца, худо ли, хорошо ли оно, его надо окончить: если хорошо – для собственного удовольствия видеть его сделанным, а если дурно – чтобы не начинать в другой раз”.

И вот результаты такой закалки: когда Уильям Гладстон был в гимназии пансионером, он имел обыкновение ходить гулять за восемь миль и никогда не возвращался назад, не пройдя по крайней мере половины дороги, какова бы ни была погода, – часто в дождь, снег и ветер, и по тогдашним школьным правилам – без зонтика или плаща. Или другой пример: с самой юности и до глубокой старости Гладстон от десяти часов утра и до двух пополудни всегда занимался своими книгами, и за все это время никто никогда не видел его в эти часы незанятым, за исключением разве периодов путешествий или нездоровья.

Такая трудовая закалка вместе со скрупулезною точностью и аккуратностью во всем, что бы он ни делал, тем более замечательна, что у него она была исключительно делом воспитания, а не необходимости, так как он за всю свою жизнь никогда не знал нужды. Это та самая закалка, которая в английском среднем классе составляет его силу, устойчивость и даже до некоторой степени дает ему влияние на другие слои общества.

С другой стороны, эта закалка не могла не повлиять вообще на склад характера мальчика, на его настойчивость, на веру в себя, на нравственную склонность, с которой он в зрелые годы приступал к выполнению самых трудных и сложных задач – и почти всегда достигал их; наконец, на ту стойкость характера и мнения, которая предохраняла его от подчинения общему течению в моменты реакции и усталости, охватывавшие временами его современников после ряда, по мнению одних, слишком смелых, а по мнению других – даже революционных новшеств его

управления. Он предпочитал в таких случаях совсем удаляться от дел, погружаясь в своего Гомера, в теологию, но не отказывался от своих задач, откладывая их впредь до более удобного случая. И этот случай всегда представлялся.

Аристократические враги Гладстона очень любят делать едкие намеки по поводу его купеческого происхождения. Но сам он хорошо знает ему цену и всегда с гордостью говорит о тех людях, которые “сами отвоевывают себе место на жизненном поприще”. И что касается его предков, то нужно согласиться, что успех в жизни здесь зависел во всех известных нам поколениях прежде всего от выдающейся энергии и самодеятельности, а не от благоволения сильных мира сего, наследия отцов или сделок с совестью.

Про мать Уильяма, урожденную Анну Робертсон, у знавших ее сохранились весьма лестные воспоминания. Происходя из очень видной семьи шотландских горцев и сохраняя в себе основные черты их пылкого и впечатлительного характера, она соединяла их в себе с недюжинным умом, порядочным образованием и замечательным тактом. Ей-то Уильям, вероятно, и обязан своим огнем, необыкновенным воображением и чуткостью ко внешним впечатлениям, которые во всю его длинную жизнь составляли такое важное подспорье к его замечательному политическому чутью.

Вот те черты сложного характера Гладстона, которые он унаследовал от своих родителей и от родительского дома в родной стране, в Ливерпуле.

Но не менее важную роль в формировании этого характера играли школа и его собственный опыт.

Глава II. Школьные годы

Как только отец заметил в Уильяме выдающиеся умственные способности, было решено послать его в Итонскую школу. Тогда это была самая известная и самая аристократическая классическая школа, откуда выходила большая часть английских политических деятелей, юристов и прелатов. Как и большая часть англичан его класса, Гладстон-отец не верил в домашнее воспитание. Помимо того, что сам он, как человек занятой, не мог посвящать детям много времени, он считал семейную обстановку, комфорт, нежные заботы матери, обилие прислуги и невольную праздность в родительском доме далеко не самыми лучшими условиями для выработки самостоятельного и выдержанного характера в своих детях, – и был в этом, конечно, совершенно прав: плохие из нас выйдут граждане, если мы даже в ранней юности не сумеем, отрешившись от всех породивших нас сословных рамок, быть просто людьми или хотя бы просто школярами.

Как бы то ни было, до двенадцати лет мальчик жил дома, и его обучением занимался сначала местный священник, а потом дьякон, причем последний составил себе очень нелестное мнение о математических дарованиях будущего первого финансиста Англии. Но в 1821 году его послали в Итон, который находился недалеко от Виндзорского замка и в тридцати милях от Лондона; там в это время уже учились два его старших брата. Благодаря хорошим способностям и основательной подготовке, Уильям сразу попал в первый класс высшего отделения, совершенно избежав трех классов низшего, что при тогдашнем крайне жалком состоянии учебной стороны школы было немалым счастьем, потому что на маленьких школяров не обращалось уже почти никакого внимания.

Порядки этой школы, несмотря на ее аристократизм и близость к двору, были самые дореформенные. Начнем с того, что учились там, даже в высших классах, очень мало – часа по два с половиной в день, да и то не каждый день: кроме воскресенья, в неделю полагался один полный праздник и два полупраздника, так что в общей сложности классным занятиям посвящалось всего лишь одиннадцать с половиной часов в неделю. Да и ученье состояло почти исключительно в чтении нескольких (далеко не всех) римских авторов, греческой Библии да в писании латинских и греческих виршей. Даже арифметика в объеме первых четырех правил преподавалась только в низших классах, так что итонские юноши по окончании курса часто являлись в аудитории специализирующегося на

математике Кембриджского университета, зная не больше четырех правил арифметики. А когда в 1845 году в Итон приехал настоящий учитель математики, то ему позволено было обучать высшие классы только под тем условием, что он будет ежегодно платить м-ру Гекстеру, прежнему преподавателю четырех арифметических правил, по две тысячи рублей – якобы в возмещение за нарушение его прав на исключительное преподавание этой науки. Ни переходных экзаменов, ни наград за успехи, никаких других поощрений не было, так что перевод школяров из класса в класс делался не по успехам, а по выслуге лет. А еще было семьдесят человек “королевских учеников”, которые и при поступлении в Оксфордский университет не должны были держать никакого экзамена. Естественно, что при таких порядках все школяры делились на два разряда: работавшие по собственной охоте природные таланты и ничего не делающие спортсмены, атлеты или жуиры, слава о “подвигах” которых гремела по школе много лет после их выхода из нее.

Жили школяры на частных квартирах, или, лучше сказать, в частных пансионах, по несколько человек. Правда, каждый такой пансион поручался надзору особых тьюторов, в обязанности которых входило смотреть за занятиями и соблюдением порядка школярами; были установлены общие правила, когда во всех пансионах следовало вставать, ложиться, находиться дома, тушить огни, идти в церковь и т. д., а за несоблюдение этих правил наказывали поркой. Но если принять во внимание, что и среди тьюторов тип спортсмена, театрала и т. п. был вовсе не редкостью, то нетрудно себе представить, что ученики старших классов без особенных препятствий со стороны начальства разъезжали по скачкам, кулачным и петушиным боям и другим достопримечательным аристократическим учреждениям того времени.

Зато если какой-нибудь школяр попадался главе школы доктору Киту на улице и, страшась встречи лицом к лицу с высшим начальством, шмыгал в лавку или двери какого-нибудь дома, это считалось крупным проступком и неизбежно вело к порке, без различия возраста и происхождения. А однажды был издан грозный приказ: “Если увижу кого-нибудь с фолиантом под мышкой – выпорю!” Объяснялся же этот лаконический указ следующим образом: с некоторых греческих словарей были содраны переплеты и поделаны из них так называемые “percepts”, или вместилища, в которых помещалось “только” три бутылки средней величины. Дело было в том, что как раз напротив того дома, где жил Гладстон и его братья, находился знаменитый в летописях Итонской школы Христофоров постоялый двор. Тут останавливался почтовый дилижанс из Лондона; сюда

направлялись все письма и посылки для школяров, здесь скорее всего можно было увидеть последнюю газету и узнать свежайшие новости; тут же собирались каждую среду окрестные крестьяне и фермеры, приезжавшие на базар в Итон, – словом, это был своего рода клуб, почтамт и центр всей местной гласности, за неимением ни железных дорог, ни телеграфов, ни других благ просвещения, – время тогда было, прямо скажем, глухое. Из окон ближайших пансионатов, кто хотел, мог целыми часами наблюдать житейские сцены у кабака и на базаре. Поэтому немудрено, что у школяров чаще, чем следовало, являлась нужда справляться о своих письмах, посылках и обо всем прочем.

Но картина все-таки еще не полна без описания системы *фагов*. В те времена, да отчасти еще и до сих пор, каждый школяр пятого и шестого классов (последних двух классов гимназии) имел право на услуги фага, то есть одного из учеников младших классов, и не только во время уроков, но и у себя на квартире, где воспитанники сами должны были позаботиться об ужине. Эти фаги под страхом побоев должны были беспрекословно повиноваться приказаниям старшего. Кроме чистки сапог и кухонной стирки все мелкие обязанности слуг исполнялись фагами: они бегали для своих “хозяев” в лавочку припасти им обед, убирали посуду, ходили с записками к их товарищам, сопровождали их во время разных увеселительных экскурсий и т. д. Очевидно также, что и директорский указ насчет фолиантов под мышкой также относился прежде всего к фагам, которым после его издания приходилось быть тем ловчее, что нужно было суметь избежать, с одной стороны, директорской порки, а с другой – “хозяйской” встрепки. Трудно себе представить более отвратительный школьный обычай, чем это фагство; основанный на исключительном праве сильного, он делал из старших тиранов, а из фагов – рабов, которые по достижении шестого класса сами становились тиранами и на своих фагах вымещали все, что им самим прежде пришлось выстрадать. И это называлось “закаливанием” молодого поколения. А между тем бывали случаи настоящей жестокости и увечий с этими фагами, и матери, отдавая своих детей в школы, боялись фагства не меньше всяких смертельных болезней. Один раз, например, незрелые аристократки старших классов, отправляясь в тележке на какие-то, кажется петушинные, бои, прихватили с собою фага для услуг. Дорогой лошадь закусил удила и понесла (вероятно, от слишком “нежного” обращения ездоков); тогда фагу было приказано взобраться на скачущую во весь дух лошадь и “посмотреть, что там такое с удилами”. Делать нечего, мальчик должен был повиноваться и исполнить поручение, поплатившись, правда, вывихнутой рукой. Два дня Уильяму

Гладстону вместе с товарищами пришлось как милосердным самаритянам ухаживать за пострадавшим, пока не убедились, что дело серьезное, и не позвали доктора, который и вправил руку.

К счастью для Уильяма Гладстона, ему фагом быть не пришлось, так как при его поступлении в школу там были его старшие братья, под начало к которым он и попал, а они его любили и не обижали. Вероятно, поэтому же, когда он сам достиг старших классов, он обращался со своим фагом, одним будущим мировым судьей, – который сам потом свидетельствовал это, – очень мягко и человечно.

Из всего сказанного читатель вправе заключить, что в Итоне во времена Гладстона учились очень мало, а больше забавлялись. В таком случае откуда же брались те политические и духовные светила, которых выпускала эта школа? Вот в том-то и дело, что кто не хотел, тот мог и ничего не делать, но кто хотел, тот имел возможность работать сколько угодно, и поощрений к тому было очень много – правда, не со стороны начальства, а со стороны самих товарищей, и в этом заключается характерная особенность английской школы. Дело в том, что при ней всегда существовали такие учреждения, как ученическое общество для дебатов, или клуб, любительский театр и, наконец, периодический журнал, которые существовали и развивались безо всякого участия или вмешательства со стороны начальства. Доктор Кит прекрасно понимал образовательное и воспитательное значение этих предприятий и вмешивался только в тех случаях, когда начинали серьезно страдать обязательные школьные занятия, как бывало, например, с драматической труппой. Вообще же эти учреждения давали возможность не только свободно развиваться природным склонностям, талантам и творчеству молодых людей, которым нет, да и не может быть места в классной комнате, но и помогали юношам верно выбрать свою будущую дорогу. Недаром, например, про политический клуб один известный итонец впоследствии говорил: “Как ни жалко было образование итонцев, которое давал доктор Кит, – оно много пополнялось взаимным самообразованием. Клубные дебаты обращали внимание учеников на историю, на текущие события, и молодым ораторам были известны все опубликованные речи всех государственных людей прошлого столетия”.

Школьный театр, имевший свою постоянную сцену, временами возвышался до такого мастерства, что слава его гремела далеко за пределами Итона. Итонский же журнал, как увидим дальше, послужил многим известным людям полигоном для пробы литературных сил, а Уильяму Гладстону помог обнаружить и развить свой громадный

административный и диалектический талант. Но возвратимся к нему самому.

По воспоминаниям очевидцев, когда Уильям Гладстон поступил в школу, это был самый красивый мальчик, когда-либо учившийся там. Но в пример другим школярам он был очень опрятен, всегда причесан и чем-нибудь занят. Товарищи скоро прозвали его на своем жаргоне “Sap”, что значит нечто вроде “пай-мальчик”, – за то, что он очень усердно учил латинские и греческие уроки и даже ухитрялся в свободное время заниматься математикой. Серьезный интерес к школьной работе, как он сам рассказывает, был вызван в нем похвальным отзывом о его латинских стихах одного учителя, сделавшегося впоследствии директором и реформатором школы. Его вирши особенно отличались не гладкостью, а своей содержательностью, благодаря его начитанности и умению владеть прочитанным материалом; так что если на занятиях встречалось какое-нибудь трудное место или требовались пояснения из других сочинений – всегда вызывали Гладстона или еще одного ученика.

В поведении это был примерно смирный и благочестивый мальчик; один из самых безупречных английских епископов, его товарищ, говорил: “Я сам был форменным лентяем, пока не познакомился с Гладстоном”. В проказах товарищей Гладстон никогда не принимал участия и даже публично порицал их. Был, например, школярский обычай во время ярмарки в среду на Масляной украдкой отрезать у свиней хвосты. Гладстон воспользовался первым случаем, когда ему пришлось на годовом обеде говорить речь о событиях года, и восстал против этого возмутительного обычая. Тогда на двери его комнаты в следующую же ярмарку был повешен пучок свеженьких свиных хвостиков с глупой надписью на латыни: “Кто любит свиней, того любят и свиньи”. Под этим поэтическим обращением Гладстон приписал от себя: “Автор этих стихов приглашается за наградой – крупным автографом на его физиономии!” Однако никто не явился, – отчасти, быть может, и потому, что Гладстон был далеко не последним в физических упражнениях, и схватка с ним легко могла окончиться не в пользу противника.

Бывали также случаи, когда он, сидя за годовым обедом в Христофоровом обеденном зале, переворачивал свой стакан и наотрез отказывался пить вино. Спортсменом он также никогда не был, хотя иногда любил играть в крикет или кататься на лодке по Темзе, для чего у него была даже своя лодка; но гораздо больший охотник он был до продолжительных – в несколько миль – прогулок по Виндзорскому парку с кем-нибудь из близких друзей, с беседами о литературе или истории. Особенно часто он

гулял с самым близким своим другом того времени – Артуром Галламом, слабым, но очень интеллигентным мальчиком, тем самым, память которого Теннисон воспел в своей величественной элегии “In Memoriam”, написанной после его ранней смерти. Это был, кажется, самый выдающийся из всех школьных товарищей Гладстона. Среди прочих из известных людей он был близок с будущим верховным судьей в Калькутте Дж. Кальвилем, епископом Новозеландским Джорджем Сальвином, профессором поэзии в Оксфорде Ф. Дойлем, поэтом Теннисоном, историком Крымской войны А. Киньлеком, а также с Джеймсом Гоном, позднее сделавшимся одним из его самых близких друзей. Некоторые из этих людей и еще кое-кто вместе с Гладстоном составляли плотный кружок, выделявшийся своим трудолюбием и серьезностью: в классное время они самым усердным образом зубрили свои уроки и писали вирши, а в свободное – занимались классической и английской литературой, историей и так далее. За такое выделение из общей массы на них сначала смотрели косо, называли их благочестивыми, зубрилами, но с течением времени, когда группа начала проявлять серьезные таланты и дарования, к ней стали относиться все с большим и большим уважением.

Например, Гладстон, сделавшись членом клуба в октябре 1825 года, очень скоро приобрел там такой вес, внес в него столько жизни и содержания, что вскоре был выбран председателем. Первую свою речь в этом собрании – да и вообще первую публичную речь в жизни – Гладстон начал довольно характерно для своей будущей шестидесятилетней парламентской деятельности. Это была речь на тему “Полезно ли образование для бедных”, и начиналась она так: “Сэр, в наш век распространенной и распространяющейся цивилизации...” Во время дебатов по другим вопросам он защищает метафизику против математики и аристократию против демократии; протестует против обезоруживания шотландских горцев и сознается в своей антипатии к французам... Там же обсуждаются вопросы о казни Стаффорда, французской революции, низложении Ричарда II, “Contrat Social” Руссо и тому подобное. Начальство никогда в клуб не вмешивалось, здесь запрещалось только заниматься текущей политикой. Но однажды доктор Кит косвенно, в форме замечания, что ему очень хотелось бы послушать хоть одну его речь в клубе, – он уверен, что “услышал бы что-нибудь интересное”, – высказал свою похвалу Гладстону. И действительно, по общему отзыву очевидцев, до Гладстона клуб страдал отсутствием содержания, а после его выхода из школы слава об Итонском клубе разнеслась далеко за ее пределы.

В 1827 году у той же группы возникла мысль издавать свой

ежемесячный журнал, подобный тем, какие несколько лет тому назад издавались в Итоне будущим министром Каннингом или еще позднее неким М. Предом. Как тогда, так и теперь понимали, что лучшие силы всей школы примут участие в этом издании, на выдающихся же учениках высшего класса лежала, так сказать, нравственная обязанность взять на себя почин в этом деле. Так и было сделано, и Гладстон под псевдонимом Бартоломей Бувери был избран редактором “Смеси”, как назвали новый журнал.

В июне 1827 года появился первый номер. Во вступлении редактор говорил: “Для моего теперешнего предприятия есть одна пучина, в которой я боюсь потонуть, – это Лета; есть один поток, который, я боюсь, мне будет не по силам переплыть, – это общественное мнение”. Это, конечно, можно отнести к журналу, но одинаково может служить и пророчеством его собственного будущего. Журнал продолжал выходить регулярно до следующего декабря, и за эти семь месяцев в его семи довольно объемистых книжках среднего формата появилось немало основательных статей, которые небезынтересны и до сих пор.

Гладстон писал в самых разнообразных формах: прологи, эпилоги, руководящие статьи, исторические опыты, сатирические очерки, классические переводы и юмористические стихотворения. В стихотворении “Egin” он с юношеским жаром порицает вековое рабство Ирландии. В статье “Красноречие” он среди прочего говорит: “Успех первой речи, предложение министерского портфеля, а там быть может и должность первого министра – вот те картины, вокруг которых любит носиться воображение молодого мечтателя...” Ему тогда было только семнадцать лет.

Позднее им было написано “Сравнение гениев старого и нового времени”. Это не что иное, как похвальная речь в память только что умершего тогда Каннинга, – едва ли не самое зрелое его произведение того времени, – быть может потому, что оно было продиктовано неподдельным чувством и касалось человека, которого он хорошо знал и любил.

За три года до своей смерти Каннинг приезжал в Итон – отчасти для того, чтобы навестить своего друга, а также и для того, чтобы посетить свою alma mater. На Гладстона этот визит произвел сильное впечатление, тем более что дружеский разговор опытного парламентского диалектика и оратора как будто нарочно был рассчитан на то, чтобы разжечь в молодом человеке энтузиазм к политической деятельности, заронить в него семя надежды на осуществление той части своих собственных стремлений, которых ему самому осуществить не удалось. После нескольких дружеских советов относительно школьных занятий он сказал: “Скоро всеобщее

царство парламентов заставит биться в такт сердца всех народов и развяжет их языки. Представь себе какой-нибудь перувианский парламент, или новый ареопаг в Афинах, греков во фраках и бобровых шапках, или – Эпаминонда, члена от Фив, Алкивиада, представителя от Афин, и так далее. Все это кажется таким странным, а между тем все это будет, и что еще страннее – английскому министру придется разговаривать не с заносчивыми царедворцами нервных королей, а с самими народами”. Потом речь зашла о Байроне, который тогда только что умер. “Да, бедный Байрон, – сказал министр, очевидно, не принадлежавший к его поклонникам, – теперь его враги рассеются”. В школе байронизм также не был в моде, и сам Гладстон предпочитал ему Вальтера Скотта.

Чтобы покончить со “Смесью”, необходимо упомянуть еще о двух вещах, вышедших из-под пера ее неутомимого редактора. Это, во-первых, “Вид на Лету”, в котором высмеиваются все посредственные писатели и косвенно порицается всякая критика, и, во-вторых, загадочное стихотворение “Ода к тени Уота Тайлера” – известного вождя крестьянского восстания против потычинной подати в XIV веке, обманом обезглавленного королевскими слугами в то время, когда король позвал его к себе для объяснений в качестве выборного от крестьян. Это в действительности сатира, но написана она настолько искренно и ловко, что многие и тогда и впоследствии принимали эту “Оду” за действительное воспевание бунтовщиков и бунта. Вслед за появлением ее на автора со всех сторон посыпался целый град “лестных” эпитетов: “Несчастный!”, “Сумасшедший!”, “Позор для Итона!”, “Неудачник!”, “Высочка!” и так далее, которые все, конечно, появились в следующем номере журнала. Это был первый урок силы общественного мнения, преподнесенный молодому политику, хотя он и прежде всегда относился к нему очень почтительно: “снисходительная публика”, “могущественная распределительница славы”...

Так как журнал выходил регулярно каждый месяц книжками в три-четыре печатных листа, добрую половину которых писал сам редактор, то, приняв во внимание бездну рукописей и корректур, ответственность за которые лежала на нем, остается удивляться, как семнадцатилетний мальчик мог управляться со всем этим, не забывая и своей школьной работы. Здесь Гладстон впервые показал свой замечательный организаторский и административный талант и чудовищную работоспособность. По словам Ф. Дойля, который один из всей компании оставался с Гладстоном в Итоне в это лето во время каникул, его отец, глядя на все это, тогда же предсказал, что этот человек далеко пойдет. “И не

потому, – прибавляет он, – чтобы статьи Гладстона были много лучше, чем твои или Галлама, дело не в этом; но сила характера, которую он обнаружил в управлении своими подчиненными, и та комбинация способностей и силы, которую он показал, убеждают меня, что такой молодой человек непременно рано или поздно выдвинется”. Это было написано в 1827 году.

Недаром также один из биографов Гладстона замечает, что, не сделайся он государственным человеком, из него вышел бы замечательный редактор какой-нибудь крупной правительственной газеты. Быть выразителем и проводником общественного мнения большинства, очевидно, было призванием этого человека, – и Англия обязана этой, казалось бы, жалкой Итонской школе и ее педагогическим приемам тем, что такой громадный талант не заглох, не выродился, пойдя по ложному пути, в нечто уродливое, несамостоятельное, как это могло бы случиться при других обстоятельствах, а развился до своего полного осуществления.

Глава III. В университете

Хотя для Гладстона с его способностями и репутацией не представляло никаких затруднений по окончании курса в Итоне поступить в Оксфордский университет, но он предпочел сначала пополнить запас своих знаний частным образом и два года занимался с доктором Тёрнером, будущим архиепископом Калькуттским. В эти два года он успел выучиться всему тому, чему не научился в школе, главным образом математике, не только низшей, но и некоторым отделам высшей – дифференциальным и интегральным исчислениям, коническим сечениям, – механике и так далее. Таким образом, в университет он вступил с предварительной подготовкой, сейчас же получил звание студента вместе со стипендией в тысячу рублей в год, в которой совсем не нуждался, и попал в самое лучшее отделение университета, который по старинному обычаю разделялся на несколько коллегий, где жили студенты.

В тогдашнем Оксфорде учением занимались гораздо больше, чем в школе. Правда, и здесь была банда забулдыг, отличавшихся всевозможными ночными похождениями и державших в некотором подчинении смирную и работающую часть студенчества, но общий тон был все-таки гораздо серьезнее. Кроме очень строгого выпускного экзамена, всякий, кто хотел чего-нибудь добиться, должен был готовиться и держать экзамены на премии, основанные, например, на основательном знании 12 – 20 книг различных греческих или римских авторов. Окончательный же экзамен предназначался для того, чтобы убедиться в основательном знании, а не в поверхностном знакомстве не только классической литературы и истории, но также и философии, логики, Библии, святых отцов и всевозможных тонкостей протестантской теологии. Для всего этого полагалось три года, за которые постигнуть всю эту премудрость было далеко не легко.

Гладстон здесь, как и в Итоне, занятия наукой считал своею первой обязанностью. Прилежный школьник превратился в прилежного студента. Он работал не только усидчиво, но и педантически регулярно. Четыре часа утром, потом прогулка и два – три часа вечером, перед сном; при этом он не чуждался товарищеской компании и даже находил время для разных вечеринок. Во время каникул у прилежных студентов – в среде которых преимущественно и вращался Гладстон – было обыкновение объединяться в кружки для чтения и вместе уезжать куда-нибудь в деревню. Так, Гладстон однажды, в 1830 году, провел каникулы с Маннингом, будущим

кардиналом, Брюсом, будущим лордом Эльгином, Гамильтоном, впоследствии епископом в Солсбери, и другими.

В течение всего своего университетского курса Гладстон пытался держать экзамен только на одну так называемую ирландскую премию и за другими отличиями не гнался. При этом произошел довольно интересный эпизод, характерный для нашего героя. Состязаться приходилось с неким Баккером, юношей заурядных способностей, но знавшим дело едва ли не точнее Гладстона. Экзаменатор в своем отзыве выразился так: “Ответы Баккера на все вопросы кратки и большею частью верны, а Гладстон пускает пыль в глаза экзаменаторов. Его, например, спрашивают: “Кто автор гимна “Боже, храни короля!”?”, а он отвечает: “Славься, Британия!” написан Томсоном”, и это совершенно всерьез”.

Такую черту можно было бы назвать просто хлыщеватостью, которой часто страдают способные люди с маленькой душой, если бы тот же Гладстон во многих случаях, как во время учебы в Итоне, так и впоследствии, не проявлял замечательной добросовестности по отношению к себе. Был, например, такой случай: Гладстона подвергли обычному наказанию за непосещение воскресной службы. В церкви он должен был написать 100 строк латинских виршей. Как это ни странно, но такое наказание практиковалось очень часто, и студенты научились обходить его: они обыкновенно покупали эти стихи у надзирателя за 2,5 шиллинга, а для него, в свою очередь, их делал его помощник за 1 шиллинг, и все оставались довольны. И когда стало известно, что на Гладстона наложено взыскание, к нему в комнату сейчас же явился надзиратель и принес ему положенные 100 строк, рассчитывая получить свои 2,5 шиллинга. Но каково же было его удивление, когда он услышал в ответ: “О нет, мне и самому не повредит написать их”. И вирши действительно были очень скоро написаны. Так же добросовестен он всегда был и в спорах. Он боролся с противным мнением, по выражению англичан, как корнилимен (корнуэлец); но если его аргументы бывали логически побиты, он добросовестно принимал мнение противника со всеми последствиями и выводами и уже вполне соглашался с ним. К тому же нужно прибавить, что как истинный шотландец он никогда не понимал шуток и все принимал всерьез. Ту же самую добросовестность к себе самому мы увидим позднее в международной политике Гладстона: он никогда не стесняется сознаваться в ошибке или неправоте своего собственного отечества, чего ему никак не могут простить известного разряда патриоты, которые считают, что в дипломатии дозволительны все средства.

Но как ни много в Оксфорде было обязательной работы, для Гладстона

ее, очевидно, все же было мало. И вот он основал общество для писания статей по разным неказенным предметам, которое называлось начальными буквами его имени – WEG. Сам он, например, читал в этом обществе свою обстоятельную статью “О вере Сократа в бессмертие”.

Наконец, было еще одно учреждение, которому Гладстон по своим склонностям и по прошлому опыту не мог не отдать доброй части своего внимания. Это – Оксфордская Union, или студенческий парламент. Но прежде чем говорить о нем, скажем несколько слов о настроении тогдашнего студенчества вообще.

Дело в том, что время с 1828-го по 1831 год было в Англии самым тревожным: по всей стране происходили волнения, народ был беден и недоволен, партии боролись, диссентеры требовали себе равных прав наравне с остальными гражданами Великобритании; на парламентскую реформу смотрели как на всеобщую панацею и тем страстнее ее требовали. Это была, можно сказать, заря всех последующих тревожных волнений XIX столетия, в которых Гладстону пришлось играть такую выдающуюся роль. А когда наконец в 1829 году Питт уравнил католиков и диссентеров в политических правах с протестантами – он лишился доверия двора и аристократии и должен был подать в отставку. Таким образом, к борьбе партий и принципов присоединилась борьба личностей.

Все это отражалось на университете. Все политические и религиозные партии и течения имели здесь своих представителей; даже среди профессоров разница во мнениях была очень велика, и у студентов считалось чуть не преступлением пойти на лекции профессора не своей партии или секты.

Господствующий среди студентов дух был явно консервативный и аристократический, хотя тогдашний консерватизм был не чета нынешнему холодному расчету выгоды. Это был еще некоторого рода романтизм, идеализация прошлого. Карл I в глазах оксфордской молодежи был святым мучеником, и верность Стюартам, хотя и не имеющая уже никакой практической почвы, все еще продолжала вдохновлять и связывать золотую молодежь. Титулы и чистокровность породы признавались с детской наивностью, и политическое и духовное управление страной считалось природным правом немногих избранных, посягательство на которое со стороны народа инстинктивно вызывало в юношестве бурю негодования и омерзение.

Однако среди тех же студентов были и радикалы, хранившие у себя в комнатах в знак особого мужества модель французской гильотины или республиканскую эмблему из треугольников и т. п.

Можно себе поэтому представить, что должно было происходить в Оксфордском парламенте. Хотя, к чести англичан, надо сказать, что они и тут сумели избежать скандальных беспорядков, которых они вообще боятся больше всего на свете. Все партии обыкновенно имели свои особые собрания, и в Union являлись уже приготовленные отряды с полководцами во главе, между которыми и происходили сдержанные турниры, причем вся остальная публика лишь высказывала свое одобрение или порицание и подавала голоса за и против. Самые дебаты велись по всем правилам искусства, как в настоящем парламенте, под руководством испытанного своей беспристрастностью и знанием обычаев председателя, с предложениями, поправками, резолюциями, вотировками и всем прочим. Словом, это была уже не начальная школа политической деятельности, а настоящая репетиция парламента в уменьшенном виде.

Гладстон, конечно, был кандидатом в Union с самого приезда в Оксфорд. Но вступление в члены Union было обставлено такими формальностями, что в первое полугодие ему только в виде особого исключения было позволено присутствовать на диспуте о сравнительных достоинствах Байрона и Шелли с депутацией от Кембриджа. При этом следует отметить, что в записках одного из членов этой депутации сделано такое замечание: “Из всех оксфордцев меня особенно поразил младший Гладстон как личность вообще выдающаяся...”

Во втором полугодии он произнес замечательную речь и был выбран секретарем Union, а в третьем уже занимал председательское кресло и руководил прениями с искусством опытного эксперта. Ему тогда было едва двадцать лет. В политическом отношении он сразу занял позицию консерватора, и его самая знаменитая речь, произнесенная в апреле 1831 года, то есть всего за год до его выбора в настоящий парламент, была направлена против вигского билля о реформе. Когда он окончил эту речь, в которой доказывал, что реформа поведет к изменению формы правления и поколеблет самое основание общественного порядка, – эффект был так силен, что одни тотчас же перешли с левой (вигской) стороны “палаты” на правую (торийскую), убежденные доводами оратора, другие же, по их собственным словам, почувствовали, что перед ними стоит будущий первый министр Англии. Сын герцога Ньюкастльского писал своему отцу в восторге: “Человек народился в Израиле!” – и результатом этого невольного восклицания была постановка герцогом Ньюкастльским кандидатуры Гладстона в следующем же году в своем округе.

Товарищи Гладстона по университету так описывают его тогдашние победы на трибуне: “Обыкновенно он начинал свою речь очень быстро и

энергично и выдерживал этот тон атакующего бойца до конца. Если кто-нибудь вставлял в его речь свое замечание, он или тотчас же отвечал на него, не прерывая нити своей речи, или же круто оборачивался и обрушивался на противника со всею силою своей энергии и аргументов – и обыкновенно побеждал. Этому, правда, немало способствовали его музыкальный баритон с примесью шотландской гортанности и очень симпатичная наружность”.

Здесь будет кстати сказать, что этот оксфордский “парламент” был основан в 1823 году, и за все время его существования председателями его были люди, игравшие потом выдающуюся роль в той или другой отрасли общественной жизни. В одном из кабинетов Гладстона впоследствии было целых семь бывших председателей Union. Один известный писатель отзывался в 1834 году об этом учреждении таким образом:

“Трудно назвать какое-нибудь другое учреждение в Оксфорде, которое приносило бы студентам так много пользы, как это общество, возбуждая вкус к изучению и к чтению вообще. Оно не только давало возможность получить школу красноречия перед публикой для тех, кто готовился быть юристом, проповедником или политическим деятелем, но и служило своего рода ареной, на которой можно было применять свои разнообразные знания; оно собирало вместе всех выдающихся молодых людей всего университета и, наконец, имело большое влияние на общий тон всего университета. При обществе существовала довольно хорошая библиотека, пополнявшаяся исключительно по усмотрению и выбору его членов...”

На своих товарищей Гладстон имел большое влияние и вообще пользовался их уважением. Даже буйная банда, которую он открыто порицал и которой никто не смел безнаказанно сопротивляться, его не трогала. В среде же товарищей о нем можно было услышать: “Право, можно подумать, что Гладстон взялся делать за нас все “думанье”; беда только в том, что когда ему приходит в голову какая-нибудь новая мысль, он требует от нас, чтобы мы так же восхищались ею, как он сам”. Это замечание ясно показывает, в чем заключалась главная причина его влияния на товарищей, его обаяния – в необыкновенной энергии его мысли, которою он всегда отличался и впоследствии. В то время как другие готовы были в свободное от занятий время искать отдыха в развлечениях, не требующих умственной работы, или, наконец, просто в ничегонеделании, голова Гладстона всегда работала и, вступая в спор, он не давал своему противнику ни минуты отдыха до тех пор, пока он не признавал себя побежденным или просто не замолкал. А кому неизвестно, что энергия, как

и смелость, города берет. Но, конечно, одной энергии для вождя мало, – необходимо, чтобы его мнения были зрелы, стойки и убедительны. Но и в этом не было недостатка у молодого Гладстона. Другой его товарищ писал о нем:

“Гладстон ненавидит компромиссы как уступки злу в ущерб добру. Как только он делает уступку, внутри него начинается борьба со своей беспокойной совестью, допрашивающею его, прав ли он был нравственно, поступая таким образом. Его огорчает не то, что он побит, а то, что он не сумел убедить тех, которые считают его своим другом и предоставляют ему руководить собою”.

Очевидно, склонности и привычки политического вождя, но не демагога, как многие неправильно понимают это слово, – ответственного предводителя многих, поручивших ему решать за себя насущные политические вопросы, нравственно ответственного за исход избранного им пути и болеющего за всякую общую ошибку больше, чем кто-нибудь из его последователей, – обнаружились в нем очень рано и окончательно окрепли уже во время его длинной и для поверхностного взгляда переменной парламентской карьеры.

Не следует, однако, забывать еще одной черты тогдашнего, а отчасти и теперешнего Оксфордского университета: он был в то же время и духовной академией, в которой молодые люди готовились как для управления государством, так и для занятия высших духовных должностей в церкви. Поэтому понятно, что церковный дух в университете был очень силен. Хотя известное религиозное движение, поднятое в 1833 году в Англии Ньюманом, тогда еще и не началось, но тем не менее церковная партия со своим сухим духом высокой безусловной нравственности господствовала над Оксфордом. На церковь там смотрели как на божественное общество и главнейшее учреждение в стране, преклонялись перед писаниями авторитетов церкви и с ужасом произносили само слово “папизм”. Увлечательного в теологической метафизике было мало, однако, по словам наставников Гладстона, в университете в то время не находилось человека, который знал бы так хорошо Библию, как он. Он был одним из немногих, кто позволял себе ходить и слушать теологические лекции всех профессоров, без различия толков, хотя и возмущался многими теориями других исповеданий. Верно также то, что при выходе из университета он просил у отца позволения идти в духовное звание, на что тот ответил решительным отказом, и далее – что во всю долгую жизнь Гладстона до самого последнего времени теологические и церковные вопросы обладали для него какой-то особенной привлекательностью, вызывали в нем всего

больше энергии и инициативы, при каких бы обстоятельствах они ни возникали, как бы он ни был занят гораздо более важными практическими и государственными делами. Все откладывалось в сторону, и государственный человек, вождь прогрессивной партии, первый министр в государстве превращался в ученого-теолога, церковного человека, который ставит разрешение какого-нибудь вопроса, например о разводе или пособии католической семинарии в Ирландии, выше всего остального и останавливает из-за этого всю государственную машину.

Что касается влияния Оксфорда на умственный склад Гладстона, то ему нужно приписать его всегдашнюю слабость к диалектическим разграничениям близких понятий и стремление выражаться как можно точнее, доходящее до педантизма: “В наш век распространившейся и распространяющейся цивилизации...” – что делало его риторику подчас очень сложной. А вот как сам Гладстон впоследствии отзывался об умственной атмосфере, окружавшей его в Оксфорде:

“Оглядываясь назад, я нахожу, что оксфордское образование моего времени страдало одним крупным недостатком. Быть может, в этом моя собственная вина, но необходимо сказать, что будучи в Оксфорде, я не научился тому, чему выучила меня последующая жизнь, а именно – придавать должную цену неразрушимым и неоцененным принципам человеческой свободы. Мне кажется, в академических кружках того времени господствовало по отношению к народу и свободе чувство ревности и даже некоторого страха... Жизнь же выучила меня питать к народу доверие, ограничиваемое лишь благоразумием”.

Окончил университет Гладстон в 1832 году блестящим выпускным экзаменом, за который получил двойную высшую награду, которая выдается только одному кандидату каждого выпуска и притом за большие заслуги.

Глава IV. В парламенте

1832 год, когда Гладстон вышел из университета, составляет эпоху в английской истории. Вековое господство британской аристократии держалось на трех исключительных привилегиях этого класса: привилегии англиканской церкви, которая до 1829 года одна могла наделять политическими правами; привилегии управления страной вследствие ограничений избирательного права, предоставлявших все голоса помещикам, и, наконец, привилегии наследственного землевладения и охранительных хлебных законов, которыми в Англии создавались искусственно высокие цены на хлеб, и нищий простой народ по необходимости был принужден жить как бы “милостью” помещиков и духовенства.

Реформа 1832 года уничтожила в принципе вторую из этих монополий; хотя практически избирательное право было расширено только на четыреста тысяч новых избирателей, но первый шаг к уравниванию других классов в политических правах с кровной аристократией был сделан, и дальше оставалось только двигаться в этом направлении. Однако не следует думать, что реформа 1832 года далась нации очень легко. Напротив, среднему классу и рабочим приходилось вырывать ее соединенными усилиями у аристократов, у палаты лордов. Продолжительные и убыточные войны с Наполеоном, громадный вред, нанесенный последним английской морской торговле, и целый ряд неурожайных лет в стране – породили столько страданий, вызвали такой застой и отчаянный взрыв недовольства, волнений и насилий, что правящая олигархия была вынуждена сделать уступки. Сам король, убежденный доводами министра Грея, был принужден стать на сторону представителей народа и потребовал от лордов, чтобы они приняли закон о реформе.

Таким образом новый порядок был встречен одними – и это было большинство народа – с самыми радужными надеждами на немедленное исцеление всех общественных и частных бедствий, а другими – с нескрываемой ненавистью и страхом. В грядущем господстве демократии видели тиранию невежества над культурой и просвещением, что-то вульгарное, угрожающее, неизбежно влекущее за собой все крайности недавнего кровавого переворота во Франции.

Легко представить, что новый парламент, в который входило большинство людей старого порядка, не оправдал ни преувеличенных

ожиданий первых, ни опасений вторых, и уже в конце первого года его деятельности начали обнаруживаться признаки реакции и недовольства: народ был недоволен своим парламентом, а парламент был недоволен правительством. Наконец, король распустил парламент и назначил новые выборы – по новым правилам.

Вот при каких обстоятельствах Гладстону была предложена кандидатура в парламенте от одного из так называемых “карманных” округов, то есть таких, которые были в кармане у какого-нибудь одного местного магната. До реформы таких округов было очень много, но новый закон уничтожил большую их часть. Нью-Йорк, находившийся в оные времена в безусловном повиновении у герцога Ньюкастльского, оставался именно таким округом. Во время первых выборов 1832 года по новым правилам энтузиазм местного населения пересилил материальное влияние герцога, и был выбран радикал, которого теперь партия герцога решила во что бы то ни стало заместить своим кандидатом. Выбор герцога пал на молодого Гладстона, которого он знал по восторженным отзывам своего сына. Гладстон принял предложение и поспешил из Италии в Нью-Йорк защищать интересы реакции. Это был двадцатидвухлетний юноша с цветущим здоровьем, красивой наружностью, блестящими способностями, очень хорошим образованием, ораторским талантом, огромным запасом слов и, в придачу ко всему этому, хорошим состоянием. Лучший выбор трудно было сделать.

В своем адресе к избирателям он рекомендовался независимым кандидатом; но, тем не менее, восставал против опасной моды к слишком скорым переменам в политике и защищал рабство в английских колониях цитатами из Библии, хотя конечно, прибавлял он, “я согласен, что как физическая, так и нравственная зависимость людей друг от друга должна рано или поздно исчезнуть, и вопрос лишь в том, в каком порядке это должно совершиться”. По мнению Гладстона того времени, вест-индских рабов-негров – трудом которых, между прочим, пользовался на своих сахарных плантациях и его отец – следовало освободить сначала нравственно, то есть обратить в христианство, а потом уже наделить и физической свободой, и гражданскими правами...

На предварительном собрании, где он впервые читал этот адрес, ему не дали закончить, – против него поднялся целый лес рук. Было ясно, что огромное большинство населения отнеслось к нему очень недоброжелательно. Но что за беда? Многие ли из них имели право голоса! При окончательной баллотировке Гладстон получил значительное большинство голосов и был выбран в парламент: местный консервативный

клуб был за него и все влияние герцога на его стороне, а этого было более чем достаточно, чтобы выбрать кого угодно. Таким образом, Гладстон на первых же порах собственным опытом убедился, как мало избирателей среди массы населения.

Теперь положение его в парламенте было ясно определено. И вот каковы были его первые законодательные опыты.

На очереди тогда стояли два вопроса: рабство в колониях и умиротворение Ирландии. Относительно первого он, конечно, повторил почти то же самое, что и в адресе к избирателям, прибавив, впрочем, требование о вознаграждении рабовладельцев за потерю “честно и законно приобретенной собственности”. Ирландию же предполагалось умиротворять отменой habeas corpus – личной неприкосновенности – и введением чуть ли не военного положения, на что он выразил свое молчаливое согласие, а с другой стороны – ограничением прав англиканской церкви в Ирландии, с чем Гладстон согласен не был, а, напротив, вскоре разразился целой теорией о неприкосновенности государственной церкви, а во время дебатов заявил, что хотя число протестантских прелатов в Ирландии действительно непропорционально числу протестантов среди населения^[2], но он уверен, что в скором времени протестантская церковь в Ирландии оживится, и тогда дела будет достаточно для всех епископов. Поэтому он был, конечно, против билля.

Не менее клерикальны и ретроградны были воззрения Гладстона в то время и по другим пунктам. Например, виги подняли вопрос об отмене обязательного подписывания при поступлении в университеты 39 параграфов англиканского катехизиса, что в сущности закрывало двери высшего образования для всех диссентеров, то есть тех, кто не принадлежал к англиканской церкви. Здесь молодой Гладстон был как рыба в воде: только три года тому назад он оставил сам университетскую скамью и мог считаться экспертом. И что же? Он произнес очень горячую речь, но доказывал в ней, что этого никак нельзя делать, так как “главная цель университетского образования есть (будто бы) образование нравственного характера”, а потому и невозможно допустить, чтобы некоторые студенты пользовались исключительным правом не подчиняться всем правилам преподавания и предписаниям господствующей церкви. А когда Пальмерстон со свойственным ему цинизмом возразил на это, что он не чувствует никакого доверия к университетской системе, при которой студенты беспрестанно переходят “от вина к молитве и от молитвы к вину”, то он ответил, что, по его мнению, “нельзя допустить, чтобы студенты даже в такие минуты не были достойны войти в храм Божий”.

Впечатление, производимое этими первыми речами Гладстона на парламент, было очень благоприятное. Слушавшие молодого оратора очень часто не соглашались с его доводами, но не могли отказать ему, наряду с замечательными дарованиями оратора, в несомненной искренности, простоте, справедливости к противнику и добросовестности к самому себе – качествах, которые остались присущи ему и до сих пор.

Между тем недовольство вигским министерством в парламенте и в стране все усиливалось, и, наконец, дошло до того, что кабинет Грея должен был подать в отставку, причем формирование нового правительства было поручено сэру Роберту Пилю, известному как умеренный консерватор и хороший администратор. Он давно уже заметил многообещающего молодого оратора и при составлении своего кабинета предложил Гладстону место товарища министра финансов. А так как в то же время старый парламент был распущен, то в конце 1834 года Гладстон опять держал речь к своим избирателям и опять баллотировался в Нью-Йорке.

На этот раз он уже, среди прочего, сказал, что “отнюдь не считает разумную реформу государства и церкви противоречащей принципам истинного консерватизма, а, напротив, их необходимым продолжением и составным элементом”, – что многих заставило призадуматься.

Министерство Пиля оказалось очень непродолжительным, потому что палата в большинстве была все-таки либеральная и Пиль не мог с ней ладить. В апреле 1835 года он уже подал в отставку. Тем не менее, как ни коротко было участие Гладстона в министерстве, он успел проявить свои и политические, и деловые способности, и замечательную энергию.

В течение следующих двух лет Гладстон продолжал вести деятельную парламентскую жизнь, работал в комитетах по разработке отдельных вопросов, часто принимал участие в дебатах и довольно часто появлялся в лондонском обществе, всегда в качестве серьезного и умного молодого законодателя, которого ожидает впереди блестящая карьера. В то же время он пользовался досугом для изучения Гомера, Данте и св. Августина, а также некоторых особенно интересовавших его в это время вопросов. Дело в том, что религиозное движение, поднятое будущим кардиналом Ньюманом, было теперь в полном разгаре: его религиозные памфлеты наводнили всю Англию, оксфордские теологи взывали ко всей стране, прося поддержки в борьбе с этой новой ересью. Гладстон сначала оставался равнодушен к этому движению, но однажды случайно встретился в госпитале со своим старым товарищем Гоном, который сам был вполне поглощен этим движением; он и увлек Гладстона. Результатом этого нового увлечения было выступление Гладстона на защиту

государственной церкви против многократных попыток вигов добиться отмены ее в Ирландии. При содействии того же Гона он выпустил в 1838 году свою первую политическую брошюру “Государство в его отношении к церкви”. Главным положением этой брошюры было “государство имеет совесть”, а потому имеет право налагать на всякого гражданина обязанность поддерживать официально избранную церковь. На возражения, что эта теория неизбежно поведет к религиозным преследованиям и изгнаниям, он отвечал, что ради “сохранения государством нравственного характера”, который нынче повсюду подчиняется экономическим соображениям и материальным интересам, “избежание преследований становится уже второстепенною обязанностью государства”.

Кто знает, к чему пришел бы пылкий юный законодатель, идя по этому скользкому пути, если бы его не удержала зрелая рука Маколея, поместившего в ближайшей книжке “Эдинбургского обозрения” беспощадную критику этой теории и его брошюры. Впрочем, критик в то же время отдавал должную дань оригинальности автора и поздравлял торийскую партию с новым светилом, которое ждет большое будущее. В этом он ошибся: светило действительно всходило – только не для торийской партии; но он не ошибся в другом – в мастерской оценке таланта Гладстона. С замечательной прозорливостью он писал:

“Риторика Гладстона затемняет и путает логику его мысли. Половина его проникательности и сосредоточенности, при самом скромном воображении и скудном запасе слов, спасла бы его почти от всех ошибок. Но у него есть самый опасный для мыслителя талант – громадный запас особого рода слов, глубокомысленных и возвышенных, но неясных по значению”.

Все эти замечания поразительно верны – в отношении не только разбираемой брошюры, но и вообще всех произведений Гладстона.

Как бы то ни было, его книга имела громадный успех: в самое короткое время она выдержала три издания и приобрела горячих поклонников; например, тогдашний немецкий посланник в Лондоне барон Бунзен писал:

“Я только что получил книгу Гладстона. Это вопрос дня, великое событие; первая книга со времени Борка, идущая до самого корня вопроса; Гладстон стоит гораздо выше своей партии и своего времени... Гладстон теперь – мощная интеллектуальная сила, первый человек в Англии, он слышит более высокие ноты, чем кто-либо из его современников”.

Однако были и другие ценители, которые усматривали в его способах аргументации нечто совсем другое. Говорили, например, что он защищает государственную церковь не ради того, что она есть носительница Божественного откровения, а лишь ради поддержания религиозности в своих современниках. При этом вспоминали, что и против реформы 1832 года он восставал не с абсолютной, а с относительной точки зрения. И в результате делали вывод, что рано или поздно все это приведет его к настоящему и открытому либерализму, как это действительно и случилось, только гораздо позже.

Когда Пилю подали книгу Гладстона, он сказал: “И что ему за охота с его будущей карьерой писать книжки!” Так рассуждал здравый практик, но его ученик оказался практичней.

Что Гладстона не удовлетворяли ни существовавшие тогда вообще, ни его собственные воззрения на обязанности государства, а быть может, и государственных людей, доказывает следующее место из письма его к другу Вильберфорсу, будущему епископу Оксфордскому. Будущее Англии тревожит его; трудности управления увеличиваются, а средства управляющих остаются теми же. “Что же касается руководящих принципов, указывающих нам путь к свету и вызывающих по отношению к себе преданность и героизм, то такие принципы, я чувствую, еще совсем не организованы; мало того, их нужно почти заново создавать”. Вот в каком виде ему рисовались тогда его собственные будущие идеи.

Работая над этой книгой, он испортил себе глаза и должен был по совету докторов уехать на некоторое время в Италию, в Рим. В ту зиму здесь жило семейство некоего сэра Стефана Глина, сын которого был товарищем Гладстона по университету. Узость круга знакомых в чужой стране естественно способствовала сближению Гладстона с этим семейством, и уже скоро он был помолвлен со старшей дочерью Глина, Катериной, а в июле 1839 года, по возвращении в Англию, и женился на ней, причем получил в приданое за нею замок Говарден.

В 1840 году появилась вторая брошюра Гладстона “Церковные принципы с точки зрения их результатов”, служившая дальнейшей защитой государственной церкви и произведшая в известной среде очень благоприятное впечатление. Но вплоть до 1841 года государственная деятельность Гладстона ограничивалась парламентской рутинной. В этом же году Пиль был опять призван управлять страной, и только с этого времени начинается серьезная законодательная работа Гладстона.

Это было то самое министерство Пилля, которому суждено было ради спасения страны провести в ущерб своей собственной партии либеральную

реформу отмены хлебных законов, иначе говоря, отменить ту самую третью привилегию, на которой держалось господство аристократии. И в этой-то акции привелось, несмотря на весь его консерватизм и клерикализм, самым деятельным образом участвовать Гладстону, тем более что он занимал в этом министерстве пост президента бюро промышленности и торговли.

Надо заметить, что время, в которое образовалось и существовало это министерство, было очень тревожное. Экономически страна была в самом жалком положении. Нищета достигла таких колоссальных размеров, что государственную милостыню получали до семи миллионов душ. Вследствие ряда неурожайных годов сельское население постепенно стекалось в города, где не хватало работы и для незанятых рук горожан. Все попытки правительства оживить сельское хозяйство, поднять его усиленными пошлинами на ввозный хлеб, охраной его от иностранной конкуренции ни к чему не приводили: народ все больше и больше нищал и волновался.

Между тем в фабричных округах и в больших городах возник ряд политических течений: *чартисты* требовали всеобщей подачи голосов, подавали петицию за петицией с миллионами подписей и, наконец, грозили употребить физическую силу, если парламент не обратит внимания на их требования. *Ремесленные союзы* требовали работы и грозили всеобщей стачкой, если парламент не найдет средств улучшить их материальное положение. Наконец, в среде самой буржуазии возникло движение за отмену хлебных законов; *Лига* против этих законов все усиливалась и, располагая громадными средствами, производила огромную агитацию по всей стране. В это время последним словом государственной мудрости считалась так называемая подвижная пошлина на ввозимый хлеб, уменьшавшаяся по мере повышения цены зерна.

Манчестерская же школа, или “Лига”, считавшая своим родоначальником Адама Смита, представителем в парламенте – Вильерса и ораторами – Кобдена и Брайта, требовала совершенной отмены хлебных пошлин и указывала на это как на единственную законодательную меру, могущую разрубить гордиев узел, то есть оживить промышленность, накормить народ и успокоить страсти.

Все эти течения к 1842 году успели уже настолько окрепнуть, что с ними приходилось считаться. Наконец министерство пошло на уступки: решено было пересмотреть тарифы. За эту колоссальную работу принялся со всей своей энергией Гладстон и в течение первого же года составил себе репутацию замечательного финансиста. Из 1200 предметов обложения он

пересмотрел 750 и налоги на них или отменил, или понизил; для покрытия же недочета был объявлен трехпроцентный подоходный налог.

В 1843 году, когда в экономическом положении, несмотря на все принятые второстепенные меры, никакой серьезной перемены к лучшему заметно не было, а агитация все усиливалась и усиливалась, Гладстон, отвечая на нападки манчестерцев в парламенте, уже соглашался с ними в объяснении причин кризиса, но все еще отрицал действенность предлагаемых ими мер и в то же время продолжал пересмотр тарифа и внес две не особенно важные, но очень характерные для его тогдашнего настроения меры: он предложил освободить от всякого налога вывозимые машины, чем сильно оживил машиностроение в Англии, и выработал правила, которым должны были подчиняться только что построенные тогда первые железные дороги; по этим правилам делались обязательными вагоны третьего класса и хоть раз в неделю дешевые поезда по всей линии, не больше одного пенни за милю, которые до самого недавнего времени выделялись на английских дорогах под именем “парламентских” и только теперь слились по цене со всеми остальными.

В 1844 году обстоятельства министерства начали заметно поправляться; оно очевидно сближалось во взглядах с самой богатой и сильной частью своих оппонентов, то есть с манчестерцами, и тем самым значительно укрепило свое положение. Гладстону, занимавшему в то время такой важный пост, принадлежала в этом немалая заслуга. Казалось бы, все шло как нельзя лучше. И вдруг случилось нечто совершенно неожиданное: Гладстон подал в отставку, и, кроме самых близких к нему членов кабинета, никто не знал почему. А дело было вот в чем. Незадолго до того Пиль обещал ирландским членам парламента уравнивать ирландские школы с английскими и шотландскими, и теперь кабинетом было решено увеличить субсидию католической семинарии в Мэйнуте, в Ирландии, с 90 до 300 тысяч рублей в год. Как только Гладстон узнал об этом, в нем поднялась целая буря сомнений, имеет ли он нравственное право быть членом такого кабинета, который принимает меры, идущие вразрез с тем, что он сам публично проповедовал на страницах своей брошюры шесть лет тому назад, – и он в январе 1846 года вышел в отставку, несмотря на убеждения своих самых благочестивых друзей вроде Гона, Маннинга и других; предварительно он, однако, окончил пересмотр второй части тарифа. Этим дело не кончилось: давая, как водится, объяснения в парламенте о причинах своей отставки, Гладстон уверял палату не только в своих искренних симпатиях к членам кабинета, который он оставлял, но и к той самой мере, из-за которой он оставлял его. Это было уже совершенно

странно. Палата понимала только одно, что вся эта мелодрама была затеяна из-за убеждений, которые Гладстон высказал шесть лет тому назад *и которых он больше уже не придерживается, хотя и хотел бы*. Словом, получилась какая-то ужасная путаница. В это же время Гладстон пишет своему другу Вильберфорсу, что отчет о деятельности протестантской церкви в Ирландии “его совсем не удовлетворяет: никаких миссионерских успехов, никакой ревности...”; иными словами, что его же собственный аргумент в защиту государственной церкви в Ирландии отпадает, а для Гладстона, для его убеждений вообще, этот вопрос о государственной церкви был очень важен.

К концу 1845 года, пользуясь досугом, он выпускает новую брошюру, но на этот раз уже о более материальных предметах: “Недавнее торговое законодательство”. В ней подводились итоги всем последствиям, какие имел пересмотр тарифа и другие меры того же характера. Вывод получался такой, что как только какая-нибудь отрасль промышленности освобождалась от налога, в ней тотчас же замечалось оживление. В заключение автор говорил: “Отныне истинная государственная мудрость будет состоять не в покровительстве какому-нибудь одному классу, а скорее в освобождении промышленности и рабочих от оков привилегии и монополии”. Одним словом, в этих вопросах Гладстон уже вполне стоял на точке зрения свободной торговли и манчестерской школы, а это уже был большой шаг вперед.

Многие утверждают, что эта брошюра окончательно обратила и Роберта Пилья. Во всяком случае, не прошло и года, как всем стало известно, что глава министерства стал за отмену всей покровительственной системы. Газеты подхватили это известие, и произошел кабинетский скандал: двое из министров подали в отставку. Пиль вдруг из очень популярного министра, каким он был в последнее время благодаря удачным результатам его торговой политики, вдруг превратился в черную овцу, на которую ополчилась его собственная партия. Он было попросил у королевы отставку, но ему ее не дали. Тогда Пиль заместил одного из удалившихся министров Гладстоном и пошел напролом.

В Ирландии в это время был голод. Картофель сгнил на корню. Большинство кабинета советовало вместо всякой немедленной помощи “снарядить комиссию”. Королевское земледельческое общество поучало голодающих ирландцев, что они могут “варить кости вместо одного раза трижды” и питаться приготовленным таким образом супом. Другие советовали им “есть соленую рыбу” и так далее в том же роде. Словом, во всем официальном мире не раздалось ни одного толкового слова, не

возникло ни одной путной мысли. Простой здравый смысл говорил Пилю, что Ирландии нужен дешевый хлеб, а не дешевые советы. Он понял это и немедленно же внес билль о понижении пошлины на ввозную пшеницу с восемнадцати до четырех шиллингов на два с половиной года; а по истечении этого времени она должна была быть уменьшена до одного шиллинга. (Этот последний шиллинг был сложен Гладстоном уже в 1869 году).

Закон прошел и был утвержден королевой 26 июня 1846 года. В тот же день министерство Пиля провалилось в палате по другому вопросу, оставшись без поддержки большинства торийской партии, и вышло в отставку.

Интересно, что как только Гладстон опять вступил в кабинет Пиля, он снова очутился в двусмысленном положении: теперь ему уже невозможно было представлять округ крайнего и непримиримого протекциониста, герцога Ньюкастльского, и совесть принудила его послать в Нью-Йорк свое прошение об отставке. А в прощальном адресе к избирателям он сказал, что делает это, “повинуясь ясному и непреложному призыву общественного долга”. Это был первый случай, когда он заговорил о необходимости повиноваться требованию страны. Таким образом, в течение этой последней сессии парламента, когда были отменены хлебные законы, Гладстон остался без места в палате, хотя это не помешало ему принимать деятельное участие в подготовке билля.

Глава V. Переходный период

В 1847 году были объявлены всеобщие выборы, и Гладстон был избран Оксфордским университетом, что считалось большой честью. Благодаря своему обращению – по крайней мере, в экономических вопросах – в “манчестерцев”, все министерство Пилля вместе с Гладстоном и несколькими последователями откололось от торийской партии, но к либеральной все-таки не примкнуло. Таким образом в парламенте образовалась промежуточная группа, названная по имени своего вождя *пилитами*. Ее промежуточный характер вполне отвечал настроению Гладстона в течение следующих нескольких лет. С одной стороны, он по-прежнему восставал против пересмотра университетского устава, по-прежнему ратовал против разрешения браков со свояченицами или пытался навязать австралийцам вторую аристократическую палату, а с другой – вместо того чтобы защищать государственную церковь, открыто признавал, что об этом бесполезно и говорить, потому что в действительности нация почти каждый год принуждена признавать и даже поддерживать материально новые и новые исповедания; вотировал за допуск евреев в парламент, чем немало шокировал чопорную часть Англии; настаивал на восстановлении дипломатических сношений с Римом или на полном самоуправлении духовенства в колониях. А уж что касается торгового законодательства, он был вполне на стороне прогресса и настаивал на открытии всех английских морей для всех иностранных судов, в то время как реакционеры кричали о необходимости отмежеваться от континента, так как оттуда будто бы завозится в Англию тлетворный дух революционной заразы, – это был 1848 год. Впрочем, в то же время это нисколько не помешало Гладстону записаться наравне с будущим императором французов Наполеоном в добровольные полицейские для охраны порядка на улицах Лондона и таким образом оправдать все регрессивные меры, какие принимались тогдашним правительством против чартистского движения.

Однако вплоть до 1851 года он оставался простым членом парламента и не принимал никакого прямого участия в работе министерства.

К этому же периоду относится первое недвусмысленное заявление Гладстоном своих воззрений на международную политику по поводу его оппозиции Пальмерстону, тогдашнему министру иностранных дел либерального правительства. Этот последний, как известно, основывал

свою успешную и популярную, но очень уж задорную политику на интриге и праве сильного, искал успеха, не стеснялся в средствах и любил повторять старинную поговорку дипломатов этого сорта: “Народы любят, чтобы их обманывали”. Гладстон говорил о нем: “Он готов был съесть сколько угодно грязи, лишь бы эта грязь была позолоченная”. В палате общин Пальмерстон защищался от своих противников циническими шутками, смеялся над энтузиазмом и боялся людей принципа. Все это не имело ничего общего ни с нравственными устоями, ни с личным характером Гладстона. Отношения между ними все больше и больше обострились и, наконец, вылились в открытый турнир в 1850 году.

Дело в том, что тогдашняя Греция, едва успевшая встать на ноги после освобождения от турок, имела несчастье навлечь на себя нерасположение Пальмерстона, которому почему-то казалось, что против него интригует французский посланник в Афинах. В то же время случилось несколько мелких недоразумений в отношениях Англии и Греции, которые могли бы в другое время пройти без всяких последствий, а теперь чуть не привели к европейской войне: какой-то мальтийский еврей Дон Пасифико навлек на себя гнев афинского народа, его лавку разбили и имущество разграбили. Он потребовал от греческого правительства возмещения убытков в размере тридцати двух тысяч фунтов стерлингов. Греческое правительство было тогда очень небогато и оставило претензию пострадавшего без внимания. Тогда вмешался Пальмерстон и начал решительно настаивать на уплате Грецией этой суммы. К тому же в это время случились и другие мелкие недоразумения, осложнившие отношения. Так, например, мичман британского военного корабля был по ошибке арестован греческими властями на острове Патрос. В результате английский флот появился в Пирее; русское и французское правительства заявили свой протест, и, наконец, французский посол оставил Лондон. Словом, из-за пожитков мальтийского еврея готова была вспыхнуть война.

Большинство палаты лордов заявило свое неудовольствие; начались дебаты. Пальмерстон говорил свою оправдательную речь пять часов и построил ее на том, что “всякий самый последний британский подданный должен быть уверен, что его защищает вся сила Англии, словом, что он *civis romanus est*”. Речь была встречена с энтузиазмом. Тогда встал Гладстон и сказал одну из тех своих речей, которые никогда не потеряют своего значения. Он разобрал, что обозначала упомянутая министром римская формула “*civis romanus sum*”, что такое был римский гражданин, и показал, что это была привилегированная каста победителей, державшая всех соседей в подчинении силой своего оружия; что для нее существовал

особый закон, особые принципы, особые правила, которыми не пользовался остальной мир. Очевидно, Пальмерстон так же смотрел и на отношения Англии к ее соседям, что совершенно не согласовывалось с понятиями оратора об истинном национальном достоинстве, благородстве и справедливости. Он видел призвание Англии в ином положении; прежде всего в поддержании среди народов уважения к международному закону и в одинаковом применении его как к сильным, так и к слабым соседям, а затем – в “водворении среди народов принципов братства и независимости”.

Очень понятно, что большинство членов узкопрактичного парламента отнеслось к таким идеям Гладстона как к заоблачным мечтаниям фантазера. Тем не менее, начало было положено – шовинистической и хищнической политике была противопоставлена человеческая, основанная на тех нравственных устоях, которыми мы руководствуемся в нашей общественной и частной жизни. Гладстон в этом случае сделал то же для международных отношений, что он пытался делать и для внутренней жизни государства, – морализировать их. “Будем щадить слабого и защищать его, – говорит он, – не будем вмешиваться в чужие внутренние дела, не станем претендовать быть учителями и цензорами других, а будем делать другим то, что мы желаем, чтобы они нам делали”. Дальше мы увидим, насколько это удалось ему на практике.

Зимой 1850/51 года Гладстон для излечения своей шестилетней дочери должен был прожить несколько месяцев в Неаполе. Вылечить дочь ему не удалось – она умерла после тяжкой болезни, что доставило много горя нежному родителю. Но он нашел в себе мужество использовать свободные минуты для общественной пользы. Неаполитанцы тогда переживали очень тяжелое время: несмотря на то, что номинально у них было и законодательное собрание представителей, и очень либеральная конституция, и законы, и личные права граждан, – но в действительности в стране царил буквально белый террор. Вся оппозиционная половина палаты депутатов была или сослана, или томила в тюрьмах, а сама палата распущена с применением военной силы, и, кроме того, приблизительно двадцать тысяч лучших граждан королевства разделяли их участь в самых невозможных условиях. И все это происходило в то время, когда в Риме и Венеции была объявлена республика.

Узнав о таком странном состоянии целого государства, Гладстон был до того возмущен и потрясен, что добился через друзей доступа в политические тюрьмы, познакомился с узниками, собрал все фактические сведения, какие только было возможно в то время достать, и написал две

статьи в виде двух открытых писем к лорду Абердину, которого просил опубликовать их.

В этих письмах он говорил среди прочего: “Теперешняя практика неаполитанского правительства есть поругание человечества, религии, цивилизации и всех правил приличия. Охранители порядка и общественного спокойствия сами мало-помалу сделались их первыми нарушителями. В полное поругание закона префект и его слуги выслеживают людей, входят в их дома – часто ночью, – расхищают их, захватывают бумаги и имущество, срывают по своему усмотрению полы и обои под предлогом поиска спрятанного оружия, бросают людей в тюрьмы десятками, сотнями и даже тысячами без всякого судебного приговора, а иногда даже и без всякого письменного полномочия, по одному слову полицейского, и большею частью без объяснения характера обвинения.

Людей арестовывают не потому, чтобы они совершили или обвинялись в совершении каких-нибудь проступков, а просто потому, что их считают такими людьми, которых лучше держать взаперти. При этом их вызывают на оскорбления, оскорбляют, а потом грубо за это наказывают. В странах, где есть правосудие, считается несправедливым наказывать за мысли, а здесь мысли не только наказываются, но даже подделываются, для того чтобы за них можно было наказывать. Довольно сказать, что за лжесвидетельство здесь совсем нет наказания. Сам префект предлагает подкупы свидетелям. Верховный судья постановляет приговор над подсудимыми, которые обвиняются в злоумышлении на его жизнь... Судьи постановляют заранее приготовленные приговоры, основывая их на заведомо и очевидно ложных показаниях. Подсудимым не дают возможности оправдаться, не дают защитника и не позволяют вызывать своих свидетелей...

Неаполитанские тюрьмы – это синоним мерзости и ужаса. Я сам видел многое, но гораздо большего я не видел. Я был в подземных тюрьмах, куда свет проникает только через небольшую решетку в потолке или вверху стены; я видел, как доктора отказывались спускаться в эти вертепы грязи и зловония, и полумертвых больных арестантов приносили к ним наверх. Я присутствовал на заседаниях судов, где людей осуждали вопреки очевидной истине и по показаниям явно подкупленных свидетелей” – и так далее, и так далее.

Письма заканчивались так: “Пора же, наконец, поднять завесу с этих сцен, более пригодных для ада, чем для земли, или немедленно должна быть произведена радикальная реформа. Я предпринял этот крайне утомительный и неприятный труд в надежде сделать что-нибудь для

уменьшения гигантской массы человеческих страданий, какие только испытываются на земле...”

В Англии эти письма произвели глубокое впечатление и немало потревожили спокойствие неаполитанского короля Фердинанда. В парламенте Пальмерстону был сделан по этому поводу запрос, на который он ответил, что уже получил полное подтверждение этих фактов и что хотя кабинет не считает возможным формально вмешиваться во внутренние дела чужой страны, но он разослал копии гладстоновских писем британским представителям при иностранных дворах, чтобы они могли оказать нравственное влияние через европейские державы на положение дел в Неаполе.

У неаполитанского короля нашлись в Англии и защитники, которые пытались отрицать справедливость фактов Гладстона и обратить его письмо в обвинение против него самого. Неаполитанский агент в Лондоне требовал от Пальмерстона, чтобы он разослал опровержение обвинений Гладстона также ко всем британским послам, но тот сухо и грубо отказался это сделать.

Несмотря на это, положение дел в Неаполе оставалось без серьезных перемен, пока с 1860 года Гарибальди со своей “тысячей” не освободил Неаполитанское королевство и не прогнал Фердинанда вместе со свитой живодеров, а Неаполь вместе с Сицилией не были присоединены к Итальянскому королевству.

Трудно сказать, насколько Гладстон помог неаполитанцам освободиться, но несомненно, что это итальянское дело ему самому принесло большую пользу тем, что имело большое влияние на развитие его собственных политических воззрений. Его знакомство с неаполитанскими политическими узниками, между которыми было немало очень даровитых и очень образованных людей, не могло не оказать сильного влияния на восприимчивый ум Гладстона. Кроме того, он познакомился с представителями “Молодой Италии” и завязал близкие отношения со многими из этих людей “добродетели, соединенной с развитием”, как он их назвал, например с неким Фарини, книгу которого – “История Римского государства от 1815-го до 1850 года” – он сам перевел на английский язык и издал по возвращении домой. Лично Гладстон всегда отзывался о них с крайней теплотой и симпатией. Как бы то ни было, он возвратился из Италии уже не таким, каким уехал.

В это время в Англии происходило следующее: католическое движение закончилось довольно бестактными апостолическими письмами папы, которыми вся Англия и вся Шотландия разделялись на католические

епархии с уже назначенными для них прелатами. Конечно, это вызвало целый взрыв негодования у протестантов и выразилось в крике “Долой папизм!”. Министерство даже нашло нужным предложить законодательную меру против католиков.

С другой стороны, тех протестантов, которые были затронуты движением Ньюмана, например Маннинга, Джеймса Гона и других, это обострение отношений заставило открыто перейти в католицизм. Для Гладстона потеря Гона была большим ударом. Как мы уже видели, их дружба была основана на чисто духовных интересах и продолжалась до тех пор, пока они мыслили в одном направлении.

К этому времени старое либеральное министерство Росселя и Пальмерстона уже совсем расшаталось. Последнему велено было подать в отставку за превышение власти и выражение симпатии *сюр д'etat* Наполеона, а он в отместку провалил своего шефа. Словом, в начале 1852 года формирование нового кабинета было поручено лорду Дерби, который назначил Дизраэли министром финансов и вождем палаты общин и в то же время предложил Гладстону и его друзьям войти в министерство. Но Гладстон отказался и составлял этому кабинету во время его короткого существования очень сильную оппозицию. Это вызвало со стороны его политических врагов обвинения, которые повторяются и до сих пор, что Гладстон сделался либералом и покинул ряды консервативной партии единственно из честолюбия и ревности к Дизраэли, которому Дерби оказал предпочтение перед ним, и что в противном случае он вошел бы в этот кабинет.

Дело в том, что Пиль умер в конце 1850 года, упав случайно с лошади на лондонской улице, и “пилиты”-остались без своего вождя. Тогда часть их снова возвратилась в консервативную партию, а более влиятельная часть – Гладстон, Граам, Сидней, Герберт и другие – была действительно готова служить с Дерби, но не с Дизраэли, с которым Дерби был связан каким-то условием.

Как бы то ни было, когда Дизраэли выступил в роли вождя палаты общин и представил свой бюджет, настал решительный момент. Он хорошо понимал, что вся сила оппозиции в “пилитах”, и потому не пожалел красок и непарламентских выражений, чтобы развенчать их вместе с манчестерской школой, и даже не пощадил памяти Пиля. Зато Гладстон, по тогдашнему выражению, “изорвал в куски его бюджет”, в котором предлагалось поддержать земледелие за счет городских плательщиков и намекалось на пользу восстановления *хлебных* законов. Он доказал финансовую неспособность министерства и оставил его в значительном

меньшинстве, так что оно должно было немедленно подать в отставку.

С этих пор началась ожесточенная дуэль Гладстона с Дизраэли, которая продолжалась до самой смерти последнего. Остроумная дерзость и бесцеремонная фамильярность Дизраэли всегда придавали возвышенному красноречию его противника особый оттенок не то благочестивого негодования, не то благородного презрения. Однажды, например, кто-то, передавая Гладстону одну из новых политических передержек Дизраэли, назвал ее *забавной*. “Вы находите это *забавным*, – заметил тот совершенно серьезно, – а по-моему, так это просто дьявольски гадко!” Трудно себе представить что-нибудь более противоположное, чем две эти личности. “Дизи” как будто нарочно был создан для того, чтобы во всем представлять обратную сторону медали. Пальмерстон также не был похож на Гладстона, но он все-таки был природный англичанин и патриот, вырос на одних и тех же с ним понятиях об обыденной морали и так далее. Тогда как в Дизраэли не обреталось ничего подобного – это был авантюрист чистой воды, умный, очень способный, но без всяких нравственных принципов и предрассудков на счет отечества. Собственная выгода, успех его партии ради своей выгоды и успех Англии ради успеха своей партии. Этим исчерпывался весь нравственный багаж этого “дьявольски” даровитого еврея. И замечательно, что дороги их как раз перекрещивались: Гладстон начал консерватизмом и постепенно делался все либеральнее и либеральнее, тогда как Дизраэли с самого начала выступил радикалом и кончил как тори. Тот момент, когда они чуть было не встретились в министерстве Дерби 1852 года, составляет именно момент пересечения, когда оба они находились на полпути, только один – из эгоистического расчета, а другой – из искреннего убеждения.

Глава VI. Крымская война

По парламентским обычаям, виновнику поражения противной партии в будущем правительстве дается видное место. Поэтому при составлении лордом Абердином в начале 1853 года коалиционного министерства из “пилитов” и вигов Гладстон должен был бы занять место министра финансов и *вождя палаты*. Но на деле он получил только первое назначение, потому что великий вождь Дж. Россель все еще не был возведен в пэрское достоинство и по старшинству должен был стоять во главе палаты. Только эта случайность спасла Гладстона от несения главной доли ответственности за неудачи Крымской войны. Это было то самое министерство, которому пришлось ее вести.

Хотя кабинет больше чем наполовину состоял из “пилитов”, либерализм Гладстона в политических и даже церковных вопросах с этих пор уже ясно определился. Это было очевидно и для его современников, так что при переизбрании его в Оксфорде против него явилась сильная оппозиция, и ему приходилось защищаться, почему он и решил вступить в союз с вигами, врагами церкви. Среди его аргументов некоторые были очень характерны: “Если бы я не был уверен, – говорил он, – что интересы церкви в руках лорда Абердина так же сохранены, как в руках Дерби, я, конечно, никогда не вступил бы в его кабинет”. Но ведь в том-то и состоял весь вопрос, сохранены ли они в руках Абердина. Подтверждения этих опасений его оппонентам пришлось ждать очень недолго: в первую же сессию он стоял за допущение в парламент еврея Ротшильда наравне с христианскими депутатами. Тогда как по мнению оксфордских ортодоксов христианскому характеру законодательного собрания от этого грозила серьезная опасность.

Затем настал финансовый триумф Гладстона. После провала бюджета Дизраэли гладстоновского бюджета вся палата, естественно, ожидала с большим нетерпением, тем более что это был его первый опыт. Но действительность превзошла все ожидания. В течение пяти часов министр финансов приковывал внимание своей огромной аудитории к ряду сухих цифр и вычислений, нимало не утомляя ее, – так искусно умел он оживить эти цифры, связать с действительной жизнью, возвести их чуть ли не в ранг поэтических образов. В основание новой финансовой политики было положено постепенное погашение национального долга наряду с освобождением от налогообложения предметов народного потребления,

таких как чай, мыло, марки, расписки, объявления и тому подобное, путем временного возвышения подоходного налога и двух конверсии, покрывавших не менее пяти с половиной миллиардов рублей. При этом получился излишек в тридцать миллионов рублей. Такая финансовая программа привела в неподдельное умиление сторонников министерства и совершенно обезоружила его оппонентов; все были очень довольны, все почувствовали, что государственные финансы находятся в надежных руках. И последствия вполне оправдали эту веру; хотя ради справедливости следует добавить, что финансовые успехи в эти и последующие годы объяснялись как последствиями освобождения промышленности и торговли от покровительства, так и талантом министра. С начала 50-х годов английская промышленность и торговля развивались гигантскими шагами: это было начало золотой эры, а следовательно, и погашение национального долга за счет бешеных барышей не представляло особых затруднений и не было ни для кого в тягость.

Тем не менее, в досье, собранном политическими врагами Гладстона как доказательство его сознательного лицемерия и обмана публики, фигурирует тот факт, что он при введении подоходного налога в 1852 году торжественно обязался постепенно отменить его к 1860 году, а на самом деле не только его не отменил, а даже увеличил. Но следует сказать, что исполнению обещания помешала Крымская война 1854 года, стоившая стране по крайней мере четыреста миллионов рублей. Нельзя же винить министра финансов за такие экстренные расходы, как издержки войны. А в том, что Крымская война действительно прервала естественный ход политической жизни страны и помешала ее нормальному финансовому развитию, нам еще предстоит убедиться.

В описываемое нами время затруднения на Востоке все более и более усложнялись и наконец разрослись в целый восточный вопрос. Недоразумения между православной и католической церквями в Палестине дошли в мае 1853 года до того, что император Николай I потребовал у Порты протектората над всеми православными подданными султана. Такое требование в глазах других держав, гарантировавших целостность Турции, равнялось низведению этой державы на степень фиктивного территориального понятия, и они протестовали, хотя когда дело дошло до мобилизации флотов, то готовыми оказались только Франция и Англия, да позднее к ним пристала Сардиния; Австрия ограничивалась нотами, а Пруссия совсем стушеввалась.

В Англии два самых влиятельных министра – лорд Абердин и Гладстон – были против войны. Первый даже заранее решил, что он выйдет

в отставку, если дело дойдет до вооруженного столкновения. Говорят, что об этом решении было хорошо известно лично знавшему его императору Николаю и оно значительно помешало устранению войны: русский император был уверен, что пока лорд Абердин стоит во главе кабинета, Англия воевать не будет, и действовал сообразно с этим!

Гладстон, как он сам выражался, делал все возможное, чтобы предупредить войну, – но роковое течение событий оказалось сильнее его.

Насколько торговое сословие и особенно манчестерцы были расположены хотя бы временно отказаться от возможности нажать гигантские барыши для защиты “какой-то Турции”, видно из того, что они снарядили мирную депутацию в Петербург. Говорят, эта депутация окончательно убедила Николая I, что английские лавочники, устраивавшие выставку 1852 года в Хрустальном дворце, ни за что не вмешаются в войну.

Между тем переговоры продолжались. Четвертого июня английский флот вошел в турецкие воды, а второго июля русские войска в ответ на это перешли через Прут и заняли Молдавию и Валахию. Общественное мнение Англии в это время все сильнее и сильнее настраивалось против России, поведение которой объяснялось исключительно хищническими видами на Турцию. Это ободряло Турцию и давало ей право рассчитывать на поддержку со стороны Англии в случае войны. Между тем английское правительство не предпринимало ничего решительного, ограничиваясь одними словами.

Наконец 4 октября, то есть через три месяца, Турция вдруг прервала переговоры и объявила войну России. Вмешалось австрийское правительство, составило умиротворительную ноту и разослало ее державам. Россия ее приняла, а Турция нет. Мнение английского кабинета по этому вопросу разделилось: Россель советовал принудить Порту принять ноту под страхом отказа в дальнейшей поддержке Англии. Пальмерстон, тогдашний министр внутренних дел, был вполне на стороне Турции. Лорд Абердин не решался ни на то, ни на другое, а Гладстон публично порицал Россию за ее заносчивость и посягательство на европейский мир и в то же время доказывал бесполезность и даже непоследовательность с христианской точки зрения поддерживать умирающую Турцию, а в заключение прибавлял, что министерство еще не теряет надежды восстановить мир.

Все это очень напоминало консилиум молодых и ученых докторов, которые прекрасно знают, чем страдает больной, еще лучше знают действие всех лекарств, которые можно было бы ему прописать, но не могут решиться ни на одно из них, и пока они тратят время на

теоретические споры, больной умирает. Какой бы решительный план ни приняли министры – отказать ли в помощи Турции или же прямо заявить России, что они “будут защищать умирающее тело”, – это было бы несравненно лучше той нерешительности, которая в критическую минуту оказалась совершенно бессильной против народного энтузиазма и вовлекла их против воли и желания в войну, стоившую стране 24 тысячи человек и 400 миллионов рублей.

На Гладстона в этом случае, конечно, падала большая часть ответственности; хотя он и привел финансы в порядок, это не спасло государство от потери 400 миллионов. За три месяца до открытия союзниками враждебных действий он делал в палате финансовый доклад, из которого оказалось, что от предыдущего года в казначействе остался избыток в 27 миллионов рублей. На военные же расходы в течение года ассигнованы были 50 миллионов рублей, и весь недочет предлагалось покрыть удвоенным подоходным налогом, – вместо того, чтобы делать заемы, то есть возлагать тяжесть текущих расходов на будущие поколения, как всегда рекомендовал Дизраэли.

Популярность министерства падала; в адрес премьера раздавались даже упреки в умышленном замедлении военных приготовлений; в кабинете появились признаки деморализации. Первые успешные столкновения с русскими при Альме, Балаклаве и Иккермане после крайне медленного передвижения из Варны в Крым несколько примирили общественное мнение с невезучим министерством, но ненадолго. Самое худшее было впереди.

Поздней осенью 1854 года в английском лагере открылись холера, дизентерия и другие болезни; ураган уничтожил почти весь лагерь; лазареты и медицинская помощь оказались в самом плачевном состоянии; наконец, начал чувствоваться все больший и больший недостаток в сене, провианте, теплой одежде. Британская армия буквально голодала и замерзала, и такое положение продолжалось целых три месяца. Люди умирали от чудовищного беспорядка и от неумелости начальства. Из Англии прибывали подкрепления, но они только увеличивали число жертв: в пятьдесят дней заболели и были отправлены в Англию восемь тысяч человек.

Понятно, что такие известия с театра военных действий поднимали в Англии целую бурю негодования. Радикалы в парламенте потребовали назначить следственную комиссию над действиями правительства по поводу положения британской армии под Севастополем. Накануне вотировки этого предложения Дж. Россель подал в отставку и тем подлил

масла в огонь: если самый старый и опытный министр покидает министерство в самую критическую минуту, значит, его дела так плохи, что их нельзя и защищать. Тем не менее, министерство, конечно, восстало против назначения комиссии, но при голосовании осталось в огромном меньшинстве и подало в отставку. Так закончило это коалиционное правительство, про которое Дизраэли еще в самом начале сказал: “Англия не любит коалиций”.

Теперь во главе нового кабинета встал Пальмерстон как представитель антирусской политики среди вигов, а “пилиты” вошли в его состав только на том условии, что премьер будет противиться назначению комиссии. Но очень ненадолго, потому что комиссия все-таки была назначена, и они вышли в отставку при самых критических обстоятельствах войны, чем сильно повредили своей репутации в глазах общественного мнения. С другой стороны, не вступать Гладстону в правительство Пальмерстона было неловко, потому что никто не хотел браться за финансы из боязни беспощадной критики Гладстона, – так велик был его авторитет в этих делах. Как бы то ни было, этим закончилось существование “пилитов” как особой партии в парламенте – после этой позорной отставки им уже никогда не удалось вернуть себе прежнего влияния, когда на них смотрели, по выражению Гладстона, как на “ледяные горы”, столкновение с которыми, несмотря на их малую видимую величину, было крайне опасным. С этих пор Гладстон начинает фигурировать в парламенте как отдельная личность, как ни сильно пострадала его популярность от крушения “пилитов”. Она достигает своих прежних размеров не раньше 1860 года, когда он уже вполне присоединился к либеральной партии и когда появилась крайняя надобность в его реформаторских способностях, на которых и строится его дальнейшая карьера.

Но и министерству Пальмерстона, состоявшему сплошь из новых членов, предстояла не лучшая участь. 18 февраля 1855 года умер Николай I, и была сделана попытка прекратить кровопролитие путем мирного соглашения, для чего в Вене собралась конференция. Представителем от Англии был послан Дж. Россель с целью добиться от России согласия на так называемые “четыре пункта”, из которых два главных состояли в прекращении русского преобладания на Черном море и в признании Турции первоклассной державой, а следовательно, отказа России от первоначального требования протектората. Достигнуть этой цели конференции не удалось, и по возвращении Росселя в Англию нападки на военное министерство до того усилились, что он должен был еще раз выйти в отставку, чтобы избежать ответственности, чем окончательно

уронил себя в глазах общественного мнения.

Зато в эту же сессию, когда война возобновилась с прежней силой и Англия наняла за десять миллионов рублей пятнадцать тысяч сардинцев, Гладстон выступил с совершенно противоположным требованием. Он доказывал, что цель войны уже достигнута, что Россия согласилась на все те требования, которые ей предъявлялись до начала войны, и даже почти на все четыре пункта Венской конференции. Ограничение же русской силы на Черном море он считал слишком унижительным для нее и не необходимым ввиду тех ужасов, с которыми связано продолжение войны. “Если же мы, – убеждал он, – сражаемся теперь из-за одной *военной славы*, то пусть палата посмотрит на это чувство глазами разума, и оно покажется ей безнравственным, бесчеловечным и не христианским”.

Такие речи в то время, когда общественное мнение Англии кипело негодованием и жаждой мести за неудачи и потерянные силы, были более чем смелыми, – они равнялись чуть ли не самоубийству, потому что давали в руки противников могущественное оружие, которым было очень легко совершенно парализовать и влияние, и популярность Гладстона на много лет; кроме того, эта речь сама по себе вызвала в стране сильную сенсацию и даже прямые обвинения в том, что Гладстон – умышленно или нет – играет на руку врагам отечества. В парламенте против него были не только враги-тори, но и недавние товарищи – Дж. Россель, Пальмерстон и другие. Однако к чести Гладстона и в опровержение тех, кто считает его оппортунистом, нужно сказать, что перспектива непопулярности в этом случае, как и в других, позднее, его не испугала: до самого окончания войны он пользовался всяким удобным случаем, чтобы доказывать ее ненужность и бесчеловечность.

Наконец, в сентябре 1855 года пал Севастополь, и в марте следующего года было заключено Парижское перемирие, по которому Россия признала все четыре пункта Венской конференции. 16 июня палате был представлен отчет следственной комиссии следующего содержания: “Страдания британских войск под Севастополем происходили оттого, что администрация не имела надлежащих сведений ни о числе русских войск в Крыму, ни о средствах страны; она рассчитывала на скорое и успешное окончание экспедиции, а не на продолжительную борьбу и потому не сделала своевременных приготовлений к зимней кампании...”

С другой стороны, вот слова самого Гладстона, сказанные по поводу Крымской войны 20 лет спустя: “В сущности, цель этой войны была отстоять европейский закон от самовластного нарушения одной державою. Другими словами, она состояла в защите целостности и независимости

Оттоманской империи от России и была обязательна для английского правительства в интересах справедливости и международного права, чего бы она ни стоила стране и казначейству”.

Таким образом, Гладстон ищет оправдания практических ошибок в нравственной неизбежности. Но страна вывела из горького опыта Крымской войны другой урок: даже многие поклонники Гладстона сознаются, что мало не желать войны, нужно уметь избегать ее; а если война неизбежна, успешно руководить ею могут только люди, желающие драться, а не морализировать, что Гладстон для этого не годится и что было бы гораздо лучше и для него самого, и для партии, и для Англии, если бы он как настоящий моралист следовал примеру квакера Дж. Брайта, который наотрез отказывался от участия в каких бы то ни было войнах, а не останавливался уже на полдороги. И последующие события вполне подтвердили это.

Глава VII. Не у дел

В течение следующих трех лет положение Гладстона в парламенте, да и в стране, было крайне изолированным. Его тогдашние воззрения и стремления побуждали его примешивать свои клерикальные принципы ко всему, о чем ни заходила речь. Такое отношение к государственным делам не находило себе места в тогдашней палате и не встречало отклика в стране. Он это чувствовал и стоял в оппозиции обеим парламентским партиям. С одной стороны, он подвергал беспощадной критике финансовые дела заместившего его сэра Льюиса, отстаивал от налогов предметы народного потребления, а с другой – восставал против самого умеренного проекта светского и обязательного народного образования; возмущался шовинизмом правительства в Китае и тратил массу сил и энергии на борьбу с проектом Пальмерстона о бракоразводном суде. Во время обсуждения этого проекта он выступал не менее семидесяти раз, писал статьи в журналах, полемизировал в газетах, ораторствовал в частных собраниях и корреспондировал о том же предмете друзьям. Он всюду доказывал, что брак есть “тайна христианской религии”, а не только и не главным образом гражданский акт; что по самому божественному закону он должен быть нерасторжим, и обе стороны могут вступать в него только один раз. Он предсказывал, что “учреждение такого суда поведет к разложению христианской, семейной и общественной нравственности...” Тем не менее, закон о разводах прошел, и такой суд был учрежден.

Тогда же он говорил: “Мне очень больно быть не у дел, тем более что есть так много занятий, которым я бы очень хотел посвятить свое время. Лучшие годы моей жизни уходят бесполезно, и все-таки я не перестаю радоваться, что не служу с Пальмерстоном. Всякий раз, когда вижу его подтасовки, шулерство и обманы, к которым он ежедневно прибегает в своей деятельности, я от души радуюсь, что не сижу на одной министерской скамье с ним”.

Наконец, Пальмерстон внес бестактный проект дополнения закона о заговоре с целью убийства по поводу покушения Орсини на Наполеона III. Тогдашняя французская пресса уверяла, что весь заговор практически в открытую велся из Лондона, и бросала таким образом тень на английское правительство. Против этого проекта восстали даже единомышленники министра, в том числе и Гладстон. В этом косвенном признании несовершенства английского закона видели угодничество Наполеону,

который вообще никогда не пользовался в Англии уважением и наемная пресса которого никогда не смешивалась в глазах англичан с истинным общественным мнением разумной Франции. Пальмерстон остался в меньшинстве и подал в отставку.

Тогда образовалось торийское министерство лорда Дерби и Дизраэли, и последний потом писал к Вильберфорсу: “Как мне хотелось, чтобы Вы уговорили Гладстона принять участие в кабинете лорда Дерби. И не моя вина, что он не согласился на это. Я чуть не на коленях просил его об этом...” И все это была фальшь. Дело в том, что для Дизраэли Гладстон был самым опасным противником, и ему во что бы то ни стало хотелось избавиться от него; самым верным способом, конечно, было сделать его соучастником своей политики. Хотя этот план ему и не удался, но на время Гладстон все-таки позволил себя провести и согласился на предложение Дерби поехать на Ионийские острова экстренным комиссаром королевы, “благо он вообще так любил греков и все греческое, начиная с Гомера”.

Дело в том, что эти острова с 1815 года находились под протекторатом Англии и теперь выражали желание быть присоединенными к Греции. Гладстону было поручено исследовать, действительно ли все население желает этого или это лишь дело одной партии. Более беспристрастного исследователя трудно было найти. Он ездил по островам, везде принимал депутации, собирал всевозможные сведения, беседовал с их сенатом в Корфу, составил подробнейший план конституции. Но в конце концов должен был донести своему правительству, что ионийцы хотят присоединения к Греции, что и было исполнено.

О полной искренности всех перемен, которые совершались в воззрениях Гладстона в течение всей его жизни, говорит их цельность. Он меняется всю свою жизнь, меняется во всех своих взглядах, и не только во взглядах, но даже во вкусах и привычках. Так, в 1858 году он посвящает свой досуг уже совсем не тем предметам, что в 1838-м. Тогда все его внимание поглощали теологические споры, а теперь он весь уходит в Гомера, в эпическую старину, в мир поэтической цельности патриархального человека и его общественной жизни. Он сам сознается, что Гомер для него служит дополнением Библии, что Библия изображает патриархального человека только в одном отношении – в религиозном, тогда как песни Гомера рисуют его, каким он был в реальной жизни, во всех его положениях, “одинаково далеким как от рая, так и от пороков позднейшего язычества”, рисуют настоящее и цельное детство человеческой расы. Он верит не только в реальность самого смелого старца с острова Скио, образ которого навсегда овеян для него какой-то чарующей

прелестью, но в известной степени и в истинность всего того, что он воспевает. Его вдохновение в глазах Гладстона рисуется как нечто среднее между вдохновением гениального поэта и откровением библейского пророка, и сам Гомер стоит на рубеже поэзии и религии. Вот почему он отводит ему первое место в великой плеяде поэтов: Гомер, Данте и Шекспир.

По собственным словам Гладстона, учась в школе, он совсем не так интересовался греческой стариной, как тридцать – сорок лет спустя, когда ее изучение сделалось для него не только любимым препровождением времени, но и настоящей страстью, которой он действительно отдавал все свое свободное от обязательных занятий государственными делами время. Поездка на Ионийские острова еще более усилила в нем эту страсть, и в 1858 году он выпустил свой первый труд по этому предмету – “Исследования о Гомере и его веке” (“Studies on Homer and the Homeric Age”), за которым позднее последовали “Детство мира” (1869), “Гомеровский синхронизм” (1876) и множество мелких заметок и статей.

Все эти работы, по отзывам специалистов, могли бы поглотить целую жизнь кропотливого труда, между тем как Гладстоном они делались в часы досуга между занятиями службой. Правда, они носят на себе следы аматорства в том смысле, что рядом с самыми мелкими подробностями в них есть очень крупные пробелы, но то, что сделано Гладстоном, составляет ценный даже для ученых специалистов вклад в литературу по этому предмету. А кроме того, в них беспрестанно попадаются поразительно яркие страницы, интересные и увлекательные и для рядового читателя.

“Там, где другие поэты делают эскизы, Гомер рисует, а где они рисуют, там он режет” – так Гладстон характеризует стиль своего любимого автора.

“Это единственный поэт древности, который, творя в своем воображении, остается настолько верным действительности, так точен в описании современной ему жизни, обычаев и нравов, истории, теологии, политики и культуры, что служит для нас самым достоверным и полным летописцем своего времени”.

Вот небольшой отрывок из описаний Гладстона, составленных по Гомеру.

“Юноша высокого происхождения тогда не был так удален от простых людей, как теперь; он воспитывался под надзором учителей в уважении к своим родителям и в стремлении приумножать их славу; он принимал участие в благородных забавах; учился владеть оружием; закалял себя в самом необходимом из тогдашних видов спорта – охоте

на диких животных; учился медицине, а также, может быть, игре на лире. Иногда, при большой разносторонности натуры, он даже мог построить себе дом или корабль или твердою рукою резать плугом прямые борозды и жать хлеб.

Едва успевал он сделаться человеком, как уже носил оружие на защиту своего отечества или племени; принимал участие в управлении; учился на чужом примере и собственном опыте, как управлять людьми в народных собраниях силой убеждения и разума; присутствовал и помогал в жертвоприношениях богам. Все это время он находился в добрых, но свободных отношениях не только с родителями, со своими семейными, с равными себе сверстниками, но и со слугами, простыми крепостными, знавшими его с малых лет, проведенных в отцовском имении.

Где он действительно шел по ложному направлению, так это в употреблении своей силы. Жизнь человеческая была очень дешева; так дешева, что даже очень тихий и скромный юноша мог увлечься какой-нибудь пустой ссорой в детской игре с товарищами и погубить ее. И так во всю последующую жизнь: как только что-нибудь возбуждало до самого дна его страсти, как бы просыпался дикий зверь, он на время переставал быть человеком, пока разум снова не приобретал над ним своей власти. Не говоря уже о таких вспышках страсти: хотя он ни за что на свете не украл бы чего-нибудь у своего друга или соседа, – но едва ли он отказался бы отнять у него что ему нравится, если это требовало особенной ловкости; что же касается личного его врага или врага его племени, то он просто отнимал что мог силой, а то и не стеснялся нанести ему смертельный удар. Однако он всегда был очень щедр к нуждающимся: путнику, бедняку или нищему, просящему у него пристанища и защиты. Точно так же как и в том случае, если бы он сам потерял все свое имущество, он мог смело рассчитывать на щедрую и простодушную помощь своих соседей”.

Глава VIII. Финансовый триумф

Между тем как Гладстон в 1858 году улаживал дела ионийцев, в политическом мире Европы накапливалось все больше и больше электричества. Отношения Австрии с Францией обострились, этим воспользовались сардинский король Виктор Эмануил и его министр Кавур, чтобы свести окончательные счета с австрийцами, занимавшими тогда Ломбардию. При помощи французской армии Наполеона сардинцы выгнали австрийцев и провозгласили восстание всех итальянских народностей для объединения в одно государство. Гарибальди вторгся в Королевство обеих Сицилии и сделал там то же, что сардинцы на севере, выслав неаполитанского короля Фердинанда, и также провозгласил объединение Италии.

Все это слишком близко касалось англичан, чтобы они могли оставаться спокойными. Надежды начали обновляться, народ повсюду воспрянул духом, и началась агитация за парламентскую реформу, за всеобщую подачу голосов, за представительство рабочих. Политическая реформа была уже давно обещана, но несколько раз откладывалась – то из-за отмены хлебных законов, то из-за Крымской войны, – и теперь терпение народа начинало истощаться. Дж. Брайт играл в этой агитации ту же роль, что Кобден в 1846 году, – он был душой и представителем более состоятельной и влиятельной части движения, хотя в нем были и другие, более крайние течения, требовавшие одновременно и поземельной, и экономической реформы. Министерство Дерби и Дизраэли было вынуждено что-нибудь сделать. И вот Дизраэли впервые сделал попытку “дрессировать”, как он выразился, свою партию, то есть приучать ее к тому, что ей самой гораздо выгоднее проводить либеральные реформы, когда они назрели и сделались неизбежными, тем самым лишая их жала и пожиная лавры популярности среди демократии, чем ожидать, что это сделают либералы. Этот новый способ обманывать народ, или “играть с вопросом”, как выражался Гладстон, был назван тори-демократизмом и навсегда неразрывно соединился с именем Дизраэли. Тот же самый политический фокус давно уже практиковался в своем истинном отечестве, во Франции, под разными видами цезаризма то Наполеоном I с победоносным оружием в руках, то Наполеоном III – при помощи кошелька, белых блуз и плебисцита. Дизраэли имел в своем распоряжении лишь ограниченную парламентскую арену, но, тем не менее, сумел воспользоваться ею для

своих целей.

Он объявил, что вносит билль о расширении избирательного права. По этому биллю право вотировать получали все имеющие до 100 рублей ежегодного дохода со своих капиталов, лежащих в банке, или получающие до 200 рублей пенсии, а также все получившие университетское образование: священники, доктора, юристы и так далее. Словом, это было установление довольно высокого образовательного и имущественного ценза вместо всеобщего права, которого требовал народный голос.

Но на этот раз “Дизи” ошибся в расчетах: большинство палаты было против его реформы; одних (либералов) она не удовлетворяла, а другим (тори) казалась поруганием партийных традиций. Позднее они “выдрессировались” и уже беспрекословно шли за своим вожаком, зная, что он “ведет их к успеху”, а до всего остального им не было дела; но теперь до этого еще не дошло. Гладстон же, как всегда верный принципу, вотировал за эту реформу, надеясь исправить ее недостатки при обсуждении, но ему не пришлось этого сделать, так как министерство осталось в таком меньшинстве, что должно было подать в отставку.

Новое министерство состояло из Пальмерстона в палате лордов и Гладстона в палате общин, хотя он все-таки еще не был вождем ее, а только министром финансов. Приняв место в чисто либеральном кабинете, Гладстон чуть было опять не лишился своего избирательного округа, так как в Оксфорде его переизбрание встретило такую сильную оппозицию, что результат выборов оставался до самой последней минуты под сомнением. Это были уже последние выборы, при которых клерикальный округ решился доверить свой голос Гладстону. Становилось очевидным, что по мере того, как возрастает его популярность среди среднего класса и демократии, аристократия и духовенство от него отворачиваются. И действительно, вслед за такими нерешительными выборами в Оксфорде в 1859 году прогрессивный Эдинбургский университет выбрал его своим почетным ректором.

Как бы то ни было, с этих пор опять открывается пора блестящих финансовых триумфов Гладстона. После Крымской войны опять началась золотая эра английской промышленности и торговли, страна вошла в свою рабочую колею, и Гладстон с его разнообразными способностями и талантами снова занял свое заслуженное место в уважении своих сограждан.

Почти тотчас после вступления в кабинет ему пришлось представлять палате свой второй бюджет на следующий год при 50 миллионах дефицита, оставшегося ему в наследство от его предшественника. Нисколько не

церемонясь, Гладстон тотчас же возвысил подоходный налог с двух почти до четырех процентов, ставя в основание своих финансов опять тот же здоровый принцип, что все экстренные и временные расходы, как и погашение части национального долга и освобождение от обложения налогом предметов народного потребления должны делаться из прихода этого же года, а не откладываться на будущие поколения в виде долгосрочных займов. Главным же источником экстренных доходов опять-таки должен был служить подоходный налог, который при тогдашнем блестящем промышленном и торговом балансе можно было свободно увеличивать.

Что же касается нововведений в экономической политике, то их было главным образом два. Во-первых, Гладстон очень скоро предложил палате утвердить торговый договор с французским правительством Наполеона, уже подготовленный главой манчестерцев Кобденом на свой собственный страх и риск и одобренный министерством. А во-вторых, был внесен билль об освобождении от всякого налога печатной бумаги, или, иными словами, снятие налога со знания, и удешевление распространяемой дешевой прессы и литературы. Понятно, что такая мера была подобна взрыву бомбы в лагере врагов просвещения, дневного света и монополистов прессы и литературы. Все, что было обскурантного, трусливого и себялюбивого в парламенте и вне его, напрягло все свои силы, чтобы провалить проект Гладстона. И на время им это удалось: закон не прошел в палате лордов. Тогда Гладстон, раздраженный и возмущенный недобросовестностью врагов, произнес речь, которую Россель назвал “великолепно-сумасшедшей”. Доказав, что лорды не имели законного права вмешиваться в финансовые меры палаты общин, Гладстон закончил угрозой, что он “оставляет за собой право найти средства осуществить решение нижней палаты”.

Это было первое открытое столкновение Гладстона с аристократией, и все думали, что он, вероятно, подаст в отставку. Но Гладстон нашел средство гораздо проще: в следующую сессию он просто включил эту меру в один билль со многими другими финансовыми мерами, которые несколько не касаются лордов и не подлежат их ведению. Верхней палате оставалось или явно нарушить конституцию, или проглотить пилюлю. Она предпочла второе. Этот законный маневр стоил Гладстону многих непримиримых врагов, к числу которых нужно отнести и маркиза Солсбери, разразившегося тогда самыми резкими личными нападениями, на которые Гладстон не считал нужным отвечать.

Вообще, этот период с 1859-го по 1865 год должно считать тем

временем, когда популярность Гладстона в стране, главным образом среди среднего класса и привилегированных рабочих, получила твердую почву. Как известно, для торгового класса никакие аргументы, никакие успехи и победы не имеют цены до тех пор, пока они не реализуются в форме увеличения прибылей. Вся предыдущая парламентская карьера Гладстона аттестовала его скорее как очень способного, но довольно ненадежного политика, который иногда, в самые критические минуты, может делать непростительно непрактичные поступки ради каких-нибудь фантазий, – так говорили по крайней мере практики. И вот теперь он доказывал рядом лет своей финансовой политики, что он не только понимает эти проблемы, не только может хорошо говорить, но умеет и реализовать прекрасную прибыль, в его опытных руках все превращается в барыши. И, главное, за какое время? Когда, например, Франция в течение двадцати последних лет нажила себе до двух с половиной миллиардов рублей государственного долга, когда долг всех держав Европы за один 1861 год увеличился на два миллиарда рублей, Англия в это время не только не сделала ни копейки долга, несмотря на Крымскую войну, а постепенно и настойчиво уменьшала его. За последние десять лет с 1850 года ее национальный долг был уменьшен на 700 миллионов рублей, а ежегодные проценты по займам сократились на 60 миллионов. Вот почему в результате получалось, что за последние три года, к 1864 году, налогообложение вообще уменьшилось на 65 миллионов, и крик политических врагов по поводу непомерного возрастания налогов наконец утих, а слава Гладстона как финансиста и государственного человека росла не по дням, а по часам.

Кроме этих общих мер, в 1861 году были основаны почтовые сберегательные кассы, которые сразу сделались очень популярным учреждением среди мелкого мещанства и состоятельных рабочих. А в 1864 году к этому была присоединена операция постепенного приобретения вкладчиками сберегательных касс государственных процентных бумаг, что сделало малые сбережения не только абсолютно сохранными, но и доходными.

Но были в эти годы и темные пятна на политической карьере Гладстона. Например, он с самого начала гражданской войны в Соединенных Штатах встал на сторону южан, публично утверждая, что Юг сам гораздо скорее и легче избавится от рабства, чем под давлением Севера. Такое заявление поставило его в натянутые отношения с американским обществом, помимо того дела о крейсерах южан, которые отчасти по вине Англии нанесли северянам столько вреда. Мы скоро увидим, как дорого Гладстону пришлось заплатить за это. Что же касается

его личных счетов с Соединенными Штатами, то в 1867 году он обратился к одному своему американскому знакомому с открытым письмом, в котором откровенно сознался в своей ошибке, и тем самым в значительной мере примирил с собою янки. Но зато “домашние” враги до сих пор не могут простить ему этого.

В 1864 году по поводу предложения одного частного члена парламента понизить городской имущественный ценз для парламентских выборов со ста рублей квартирной платы в год до шестидесяти, что включило бы в число избирателей добрую долю рабочих, Гладстон впервые принципиально высказался за распространение избирательного права на рабочий класс. “На тех, кто лишает сорок девять из пятидесяти рабочих политических прав, – сказал он, – лежит обязанность доказать их неспособность пользоваться ими. По-моему же, всякий человек, не обладающий какими-нибудь исключительно дурными качествами, имеет нравственное право пользоваться конституцией страны...” Дальше он отвечает на возражение, что рабочие сами не требуют себе этих прав, таким образом: “Рабочие начинают агитировать только когда их положение становится уже совсем невыносимым, поэтому законодатель должен не доводить дело до агитации среди рабочих, а предупреждать ее”.

Такие речи, понятно, совсем не нравились ни тори, ни даже умеренным либералам, привыкшим только из-под палки решаться на что-нибудь серьезное. Все знали, что раз Гладстон признал что-нибудь в принципе, недолго придется ждать и осуществления этого принципа.

Зато бюджет 1865 года был принят всеми партиями без всякого возражения и мирно заключил этот блестящий период парламентской истории.

Глава IX. Гладстон и клерикалы

Таким образом, летом 1865 года мирно истек семилетний срок парламента и были объявлены одни из самых тихих и неинтересных выборов. Единственное исключение составлял Оксфорд, – там происходила бурная борьба из-за того, “быть или не быть” Гладстону их представителем. И в конце концов после трех дней тревоги и ожиданий оказалось, что “не быть”. Зрелище было действительно интересное; баллотировался самый способный и самый популярный человек в парламенте, замечательный государственный деятель, солидный ученый, образцовый делец и лучший финансист в Англии, и ко всему этому педантичный ревнитель морали и протестантизма – и оксфордские клерикалы его не выбирают на том основании, что за два или три месяца до выборов он имел смелость открыто высказать в парламенте, что положение государственной протестантской церкви в Ирландии ложно и требует внимания правительства. Этого было достаточно, чтобы перевесить все остальные достоинства кандидата. В сказанных Гладстоном словах увидели – и совершенно основательно – его намерение отменить в Ирландии государственную протестантскую церковь, то есть покушение на церковные имущества и на синекуры духовенства. А из каких побуждений, ради каких целей это делалось – оксфордским клерикалам до этого дела было мало.

Как бы то ни было, Гладстону нужно было в самую последнюю минуту выборов искать другой округ. И он нашел его в Южном Манчестере и Ливерпуле, где и был избран довольно хорошим большинством.

Пальмерстон говорил во время оксфордских выборов: “Держите его в Оксфорде, там для него приготовлен хороший намордник, а как только вы отпустите его в какое-нибудь другое место, он взбесится”. Или в другой раз Пальмерстон заметил: “Скоро он займет у вас мое место, и тогда начнут твориться странные дела”. “Times” после этого с торжеством заявила, что “Гладстон принадлежит теперь не Оксфорду, а Англии”. На самом же деле в последние годы мнение избирателей сильно связывало Гладстона в его деятельности, и из его собственной речи в Манчестере видно, что хотя ему и больно было оставлять Оксфорд, но в конце концов он даже радовался этому. И теперь, когда он лишился всякой поддержки клерикалов и столбовой аристократии, ему ничего не оставалось, как сильнее прежнего опереться на мещанство и демократию. Вот почему с этих пор в воззрениях

Гладстона совершается уже более быстрая и решительная перемена.

Как только окончились выборы, Пальмерстон умер, Россель занял его место в палате лордов, а Гладстон сделался вождем палаты общин. Теперь все благоприятствовало либералам на деле доказать стране свою готовность провести действительно серьезные реформы в избирательных правах. Но к стыду их нужно сказать, что, как всегда, мужество и тут оставило их в самую критическую минуту. Дж. Россель внес наряду с отменой habeas corpus в Ирландии такой билль о реформе, что во многих отношениях он был даже более умеренным, чем билль Дизраэли 1859 года. В общей сложности избирательное право распространялось на четыреста тысяч новых избирателей, как и по проекту Дизраэли. Защищая этот билль, Гладстон высказался по вопросу об избирательном праве полнее, чем когда-нибудь:

“Напрасно думают многие, – сказал он, – что наделение правами новых граждан, не имевших их до сих пор, заключает в себе нечто опасное или вредное... Напротив, заинтересуйте этих людей в конституции страны – и в силу благодетельного закона природы и Провидения эти новые интересы вызовут в них новые привязанности, а привязанности народа к трону, к учреждениям и законам, под которыми он живет, в конце концов дороже золота и серебра, даже дороже флотов и армий, – это и сила, и слава, и опора страны”.

В этой речи в Гладстоне сказался уже не только либерал, но и демократ – один из тех, кто говорит: “Если хотите дать людям гражданское воспитание, из толпы создать сознательных участников общественной жизни – сделайте их ответственными за то, что совершается в стране: ответственность есть мать гражданской мудрости”.

Вот почему с этих пор, то есть с 1866 года, начинает расти популярность Гладстона среди массы английских рабочих; вот почему как только парламент благодаря расколу и трусости тогдашней либеральной партии, выбранной для пальмерстоновской шутовской политики, отказался принять даже эту жалкую реформу – Гладстон сделался героем дня во всей стране. В день отставки министерства десятитысячная процессия остановилась перед его домом и потребовала, чтобы он со всем своим семейством вышел на балкон и сказал ей несколько утешительных слов, поддержал надежду на будущее. Вот почему, наконец, 3 июля 1866 года, когда полиция не дозволила процессии войти в Гайд-парк и по распоряжению торийского министра заперла ворота парка, стотысячная толпа своим чудовищным натиском повалила огромную чугунную решетку и, как масса воды, хлынула в парк, где с достоинством провела свой митинг,

в который полиция уже не решалась вмешиваться. Но и этим дело не кончилось. По всей стране началось с удвоенной силой движение за реформу. В некоторых городах, например в Бирмингеме, происходили демонстрации, в которых принимало участие до двухсот пятидесяти тысяч человек. Руководила этим движением большею частью “Лига реформы”, гордившаяся присутствием в числе своих членов ораторов Дж. Ст. Милля и Дж. Брайта; но рядом с этой лигой были и другие, более крайние течения, которые тогда уже говорили о национализации земель и о контроле общества над отношениями труда и капитала рядом со всеобщей подачей голосов.

Под влиянием всех этих событий Дизраэли приступил ко второй, более удачной операции над своею “обученной” партией. Однако ему самому при этом пришлось долго играть роль клоуна, кувыркающегося по команде и к удовольствию парламентской публики, то есть либеральной партии. Внесенный им снова проект реформы ничем не уступал либеральному биллю Росселя, а после многочисленных поправок, продиктованных ему Гладстоном, оказался намного более смелым, чем его предшественник. Но зато при третьем чтении терпение его собственной партии опять лопнуло, и поднялся бунт против своего политического берейтора. Один известный тори заявил, что он далее не намерен участвовать в этой “азиатской мистерии”, на что “Дизи” ответил, недолго думая, что он очень рад слышать такие “батавские любезности” от своего партизана. Или, например, будущий преемник его, маркиз Солсбери, выразился еще резче. “Я протестую, – сказал он, – самым решительным образом против политической нравственности, на которой основаны маневры нынешней сессии. И если вам будет угодно заимствовать свою политическую этику от политического авторитета, вы можете быть уверены, что ваши представительные учреждения будут растоптаны вашими собственными ногами!” В действительности была получена реформа, дающая право голоса всем домохозяевам (то есть нанимающим целую квартиру, по-английски “дом”) и даже многим постояльцам.

Наконец, весной 1868 года Гладстон предложил палате резолюцию об отмене ирландской государственной церкви. Дело в том, что с тех пор как англичане господствуют в Ирландии, девять десятых населения которой составляют католики, англиканская (протестантская) церковь была там государственной, то есть поддерживалась на средства государства, собираемые со всего населения Ирландии. Тогда как католическую церковь, с тех пор как прекратились религиозные гонения, английское правительство лишь терпело по необходимости. Это неравенство, эта

вопиющая несправедливость, оскорблявшая не только гражданские, но и религиозные чувства местного населения, всегда тормозили всякое разумное начинание, омрачая его религиозной рознью и приводя в конце концов к междоусобию. Гладстон, в котором в то время государственный человек уже перевешивал клерикала, понимал, что прежде чем начинать какие-нибудь гражданские реформы, необходимо расчистить для них дорогу. Такой смысл и имели его резолюции. Он предлагал все без различия вероисповедания в Ирландии лишить государственных субсидий и имуществ, полученных ими от государства, с тем, чтобы они поддерживались добровольными приношениями прихожан. С другой стороны, все личные интересы теперешнего духовенства должны быть вознаграждены пожизненно из церковного имущества. При этом Гладстон-клерикал рассуждал таким образом: церковь как необходимая духовная руководительница граждан требует для своего поддержания некоторой доли национального имущества, если она исполняет назначение, то есть руководит духовно; если же нет, как и было в Ирландии, ее право на национальный бюджет недействительно. А с другой стороны, как может быть провозвестницей истины, добра и справедливости церковь, существование которой строится на насилии над чужой совестью.

В парламенте эти резолюции получили большинство в шестьдесят пять голосов, и министерство должно было бы подать в отставку, но “Дизи” ухитрился с помощью всяких уловок продержаться у власти еще несколько месяцев – до осени, когда и были объявлены новые выборы по новым правилам. Гладстону опять пришлось бежать из своего округа в Южном Манчестере и Ливерпуле как чересчур протестантского, возмущенного уничтожением протестантской государственной церкви. Тем не менее, выборы велись на почве этого вопроса, и в новом парламенте за него оказалось большинство в сто пятнадцать голосов, то есть почти вдвое больше, чем в предшествовавшем. Гладстон с энтузиазмом был избран в Гринвиче, почти чисто рабочем и демократическом округе. Сам он в этой борьбе принимал деятельнейшее участие. В это же время Гладстон выпустил свою брошюру “Глава из автобиографии”, в которой объяснялось, почему он переменил свои взгляды на государственную церковь, и объяснялось вполне удовлетворительно для тех, кто был способен понимать возможность изменения подобных взглядов.

Таким образом, Гладстон был опять на своем месте – вождем палаты, и на этот раз уже первым министром.

Глава X. Геройское законодательство

Никогда еще за всю его политическую карьеру Гладстону не приходилось действовать при таких благоприятных обстоятельствах, как теперь. Сам парламент был выбран с целью проведения смелых реформ Гладстона и своим большинством в сто пятнадцать голосов за самую щекотливую из них, несомненно, указывал, как страна относилась к грядущим переменам. Весь кабинет был подобран из самых способных и искренних людей либеральной и радикальной партии и как нельзя лучше отвечал своему назначению. Наконец, сам их шеф только что освободился от стеснявших его обстоятельств и людей и впервые взял на свои плечи ответственность за всю государственную машину. Наступала золотая пора либерализма в Англии; вся партия, как одна сплоченная колонна, с верой в успех следовала за своим блестящим вождем.

Между тем в Ирландии поднимался дикий взрыв протестантского фанатизма; он распространился в Англии и захватил собою почти всю консервативную партию и большую часть духовенства. Изменник перед королевой, страной и Богом, предатель, грабитель, поднявший руку на достояние Бога, – эти и тому подобные эпитеты сыпались со всех сторон. А в провинции распространялись совершенно невероятные и таинственные слухи вроде того, что Гладстон одержим дьяволом и пылает непримиримой враждой к церкви, что он решил ограбить самого Бога и, таким образом, потрясет мир небывалым и величайшим грехом.

Наконец в марте 1869 года был внесен билль. Гладстон в своей трехчасовой речи доказывал, что протестантская церковь от этой меры не только нисколько не пострадает, но даже выиграет, а в целом новый закон успокоит брожение умов в Ирландии. (Это было как раз после двух фенианских отчаянных дел – взрыва стены в Клярнен-уэльской тюрьме в Лондоне и побега нескольких фениев из тюремной кареты, соединенного с убийством тюремщика).

Несмотря на сопротивление лордов, тори и духовенства, билль сделался законом. По словам Гладстона, Ирландию отягощали три ветви одного и того же дерева: государственная церковь, система землевладения и система народного образования. Первая была только что срублена; теперь оставалось приняться за другие две, чего и требовало общественное мнение Ирландии.

И, действительно, положение ирландских крестьян было

невыносимым. Своей земли они не имели, а издавна должны были арендовать ее у помещиков, но при этом их положение было самое необеспеченное: все, что ни делал арендатор – постройки, расчистка земли от кустарника или камней, осушка болот и так далее, – все это принадлежало ему только до тех пор, пока земля была за ним. Но в том-то и дело, что землевладелец был волен прекратить аренду почти в любое время, под разными предлогами, хотя бы просто для того, чтобы завладеть плодами кропотливого труда этого арендатора и сдать ферму другому за двойную цену. И таких случаев действительно было очень немало; а еще чаще землевладельцы пользовались этим своим правом для того, чтобы повышать арендную плату, угрожая изгнанием. Нечего и говорить, что такая система давала помещикам власть облагать налогом трудолюбие крестьянина и потому действовала на его энергию и на состояние его хозяйства самым разлагающим образом.

Только в Ольстере, то есть северной провинции, населенной протестантами, существовал обычай, по которому все улучшения, пока арендатор не извлек из них возможной выгоды, считались его собственностью, за которую при изгнании он имел право требовать с землевладельца денежное вознаграждение, а при передаче фермы другому арендатору – продать ему это свое право.

Вот этот-то ольстерский обычай Гладстон теперь и предложил узаконить для всей Ирландии. Для оценки улучшений предполагалось установить известные правила, которые мог бы применять всякий судья. Такая земельная реформа, по мнению Гладстона, должна была прежде всего упрочить положение крестьян на земле, а косвенно “лишить фенианизм его жала”. Первого августа поземельный акт Гладстона уже стал законом.

Почти в это же время, всего двумя днями позднее, товарищем Гладстона, министром народного образования Форстером, был внесен в парламент законопроект о реформе народного образования в Англии и Уэльсе.

Проект Форстера состоял в том, что плательщики налогов во всяком округе, в случае недостатка в школах, имеют право выбрать из своей среды школьный комитет с правом облагать жителей особым налогом, устраивать школы и так далее. Для надзора за учебной частью назначались особые инспектора. Все родители детей от пяти– до тринадцатилетнего возраста обязаны были посылать их в школу под страхом штрафа до пяти шиллингов. Преподавание Закона Божьего предоставлялось родителям и духовенству различных вероисповеданий вне обыкновенной начальной

школы. Таким образом, дети, родители которых принадлежали к различным церквам, могли учиться в одной и той же школе.

Этот проект прошел, и теперешняя система английского обязательного и светского народного образования есть его осуществление. Но для этого министерству пришлось сделать некоторые уступки оппозиции в ущерб диссентерам, вследствие чего они при следующих выборах отказались поддерживать либеральную партию. Это был второй подводный камень, который нажил себе своими реформами гладстоновский кабинет, если ненависть к нему протестантского духовенства по поводу церковной реформы считать первым. Скоро возник и третий.

Гладстоновский военный министр Кордуэл задумал целый ряд реформ в армии, из которых некоторые второстепенные были уже проведены, а теперь (в 1870-м) на очереди стояла отмена покупки мест в армии. До сих пор в Англии все высшие военные посты могли получать только люди богатые, главным образом аристократия, потому что они продавались: командование полком, например, стоило что-то около 100 – 150 тысяч рублей. И каждый из таких “покупателей” смотрел на свое место как на свою собственность, которой никто не может лишить его. Словом, вся военная служба была построена на чисто аристократическом начале и составляла привилегию одного класса.

Министерство Гладстона предложило отныне заменить продажу мест экзаменом и выслугой, причем все уже купившие места при выходе в отставку должны получить рыночную цену своего места от правительства. Нет, конечно, ничего удивительного, что все высшие чины армии и вся аристократия поднялись против этой меры как один человек. Тем не менее, в палате общин билль прошел, но лорды наотрез отказались его утвердить. Отсюда возникло второе столкновение Гладстона с наследственной палатой. Все ожидали, что он будет выжидать время, а потом начнет опять и опять вносить свой проект. Как вдруг в официальной “Лондонской газете” появляется королевский приказ – отныне никого не назначать на высшие военные должности за плату, а только по экзамену и за выслугу. Гладстон открыл, что продажа мест была установлена не парламентским, а простым королевским декретом. Формально он был, конечно, прав, но с точки зрения установившегося обычая это был очень смелый, почти диктаторский шаг, который обошелся ему очень дорого. Против него восстали не только лорды и оппозиция, но и очень многие из его сторонников, видевших в этом посягательство на независимость парламента.

Таковы были главные меры, проведенные в этот блестящий период

прогрессивных реформ, не говоря о массе второстепенных улучшений, сделанных преимущественно в течение 1870-го и 1871 годов. Но, как уже было замечено выше, почти каждая из этих мер затрагивала чьи-нибудь интересы, кого-нибудь восстанавливала против министерства. Так что в результате после трех- или четырехлетней лихорадочной реформаторской деятельности оно увидело себя окруженным недоброжелателями и прямыми врагами вместо прежней сплоченной колонны соратников.

Но и помимо реформаторского законодательства в иностранной политике накопилось немало дел, сильно повредивших Гладстону в глазах его сограждан. Международная политика, как всегда, оказалась самым слабым его местом. В 1871 году вспыхнула война между Францией и Германией, в которой Гладстону с некоторым усилием удалось сохранить нейтралитет. Но когда Россия, воспользовавшись этой войной, отказалась от дальнейшего исполнения стеснительных для нее условий Парижского трактата, Гладстон счел невозможным противиться в одиночку этому требованию и согласился на созвание в Лондоне международной конференции, которая и освободила Россию от нейтральности Черного моря и запрещения входить в Босфор.

Для врагов Гладстона этот случай послужил хорошим поводом к нападкам на него за недостаточно патриотическую политику, – особенно припоминая его прежние заявления о ненужности ограничивать Россию на Черном море. И это обвинение также немало повредило Гладстону. Каких бы мнений ни держался этот англичанин, но отказаться от роли цербера в международных отношениях ему было очень трудно, и он при первом же удобном случае показывал зубы и когти.

Но гораздо более серьезный камень преткновения для гладстоновского кабинета 1868 года представляло собой дело о крейсере *Алабама*. Американцы уже давно доказали, что во время гражданской войны с верфей Англии были спущены пять вольных крейсеров для южан; что во время их постройки американский посланник обращал внимание пальмерстоновского правительства на эти суда и просил их задержать. Тем не менее, они были не только выпущены, но некоторые из них даже снабжены английскими офицерами и экипажем. Эти крейсера в течение следующих двух лет нанесли торговле северян огромный вред, и теперь Соединенные Штаты требовали возмещения убытков в размере ста миллионов рублей. После долгих переговоров и совещаний решено было отдать это дело на решение третейского суда из представителей незаинтересованных держав, таких как Италия, Швейцария и Бразилия. Этот третейский суд собрался в Женеве летом 1872 года с участием

представителей Англии и Соединенных Штатов и приговорил первую к уплате тридцати двух миллионов рублей.

Когда это решение было опубликовано в Англии, негодованию общественного мнения не было границ: самые серьезные люди кричали, что правительство не должно подчиняться такому возмутительному решению суда. Но это был лишь первый порыв, и когда он сменился осознанием неизбежности подчиниться, вся накопившаяся горечь, конечно же, была вылита на виновников выпуска крейсеров и разбирательства этого дела путем третейского суда. А это был опять-таки Гладстон, который один участвовал в министерстве Пальмерстона 1859 года и теперь придумал поручить решение дела третейскому суду. Последняя мера составляла очень важное и смелое нововведение в международной политике, вполне достойное Гладстона, – но только в данный момент оно разрешилось не прогрессивным толчком общественной мысли, а, наоборот, сигналом к усиленной реакции. Все обещанные и уже проведенные Гладстоном реформы и нововведения начали казаться людям прекрасными только на словах, пустой болтовней, которая приводит лишь к позору и разочарованию.

Популярность Гладстона начала клониться к упадку. Несомненным признаком этого явилась попытка некоторой части его гринвичских избирателей устроить внушительную демонстрацию в Бланхизе с целью потребовать от него выхода в отставку. Этого было достаточно, чтобы пробудить в шестидесятилетнем Гладстоне всю его громадную энергию и заставить его взять быка за рога. Он явился на эту демонстрацию и встретил лицом к лицу двадцатитысячную толпу своих недовольных избирателей длиною и совершенно парламентскою речью, в которой защищал шаг за шагом всю свою политику последних лет. Вначале вместе с оглушительными аплодисментами его встречали недовольным ропотом, свистом и криками, а затем, когда спокойный и решительный оратор, смело идущий навстречу народному обвинению, овладел умами слушателей, увлекши их своею логикой, а еще больше своею искренностью и прямою, – число протестующих уменьшилось до того, что по окончании речи оратору, просившему слушателей высказать свой приговор, были устроены такие восторженные овации, которые достаются только на долю победителей. Да, в Бланхизе Гладстон победил; но в глазах всей страны он от этого не выиграл – его влияние, чарующая сила его имени и его идей все уменьшались и уменьшались. И когда, наконец, в 1873 году он внес злополучный билль о смешанном католическом и протестантском университете в Дублине, им все, даже сами либералы, остались

недовольны, и проект провалился, а через два дня кабинет решил подать в отставку.

Однако когда королева предложила Дизраэли составить кабинет, тот отказался это сделать при прежнем парламенте. Он, очевидно, предпочитал пользоваться поражениями “потухших вулканов”, как он называл теперь либеральных министров, а не неполными победами своей партии. Таким образом, Гладстон против своего желания и без всякой поддержки общественного мнения управлял страной еще около года. Наконец, в январе 1874 года неожиданно для всех он вдруг решился распустить парламент и назначить новые выборы.

Это был очень печальный период в его жизни. Очевидно, он не мог найти ни одной точки соприкосновения с общественным мнением и страдал от этого. Ничем другим нельзя, по крайней мере, объяснить тогдашние разговоры этого живучего и сильного старика о своем удалении от дел, о том, что еще ни одному премьеру не удавалось сделать ничего важного после шестидесяти лет. Как нарочно в это же время не стало одного из самых преданных и испытанных его друзей – епископа Вильберфорса. Их дружба началась почти со школьной скамьи и продолжалась до самого последнего времени. Он был одним из немногих, кто всегда умел понять Гладстона, при любых обстоятельствах и во всех ситуациях.

Эта утрата тем более усилила мрачное настроение Гладстона, что к ней прибавились внутренние несогласия, подтачивающие все клонящиеся к упадку партии.

В этом отчасти был виноват он сам. Про него говорили, что он прекрасно понимает *человека*, но не людей – то есть реальных, обыкновенных людей с их слабостями. В среде собственной партии, даже собственного кабинета его отношения никогда не идут дальше служебных, они до крайности сухи и официальны. Он не только не умеет окружать себя той пленительной атмосферой любезности и шуток, которой отличаются многие крупные люди, но, наоборот, часто забывает даже быть просто приветливым с крайне нужными для его собственного дела людьми – и тем отталкивает их.

Но вот настали выборы, и Гладстон, вопреки всеобщим ожиданиям, кинулся в них с таким жаром и самозабвением, что в дневнике Шафтсбери стоит следующая заметка:

“Это что-то совсем новое. Нужно же, в самом деле, иметь хоть немного уважения к достоинству своего положения. А он бегаёт из Гринвича в Бланхиз, из Бланхиза в Вулич, а там в Нью-Кроси – словом,

везде, где найдется пустая бочка, на которую можно взлезть и ораторствовать”.

И что же? После всего этого его выбирают вторым после какого-то водочного заводчика, а его товарищей по кабинету не выбирают совсем. Ввиду этого он написал лорду Гренвиллю официальное письмо, слагая с себя ответственность вождя партии и почти совсем удаляясь от дел, отчасти по нездоровью, а отчасти ради какого-то “своего особого дела”.

Однако прежде чем это решение было приведено в исполнение, его пришлось отменить. При каких бы то ни было обстоятельствах, но принимать участие в церковных и теологических спорах он считал своей обязанностью. Или, лучше сказать, не мог устоять от этого соблазна. В это время архиепископ предложил проект ограничения свободы духовенства относительно ритуала в англиканских церквях. Гладстон пустился во все тяжкие: говорил в палате, писал статьи, вел переписку и выпустил два памфлета. Не будем входить в подробности этого малоинтересного препирательства. Скажем только, что, становясь в прямой антагонизм с католицизмом, он косвенно очищал себя от довольно распространенного против него обвинения, что он тяготеет к папизму. Возражая архиепископу, он защищал личную свободу каждого прихода и каждого священника.

Так прошло два года. В это время консервативное правительство проводило довольно важные меры, например закон “об обществах самопомощи” и рабочих союзах, закон о разрешении споров между нанимателями и рабочими и так далее. В решении всех этих вопросов Гладстон почти не принимал участия, а большую часть времени проводил в своем имении Говарден в кругу семьи, погруженный в изучение тонкостей католицизма, ритуализма и так далее, а на досуге рубил деревья в парке или принимал случайных посетителей и репортеров из соседних городов. В это же время им был выпущен второй труд о Гомере.

Как на него самого, так и на публику такое его удаление от дел имело успокаивающее влияние. Его статьи и брошюры расходились в сотнях тысяч экземпляров, и, как всегда, читателя с автором примиряла его искренность, прямота и чуткость. Следить же за деятельностью противной партии он предоставил своим товарищам, сберегая свои силы для более важного дела, которое и не замедлило скоро явиться.

Глава XI. Русско-турецкая война и второе министерство Гладстона

Еще в 1875 году Турция напрасно старалась подавить восстание в Боснии и Герцеговине. В 1876 году Сербия и Черногория начали открыто готовиться к войне, между тем как у Турции ко всем этим внешним затруднениям присоединились и внутренние: она была на краю совершенного банкротства; в Константинополе открыли несколько заговоров и, наконец, султан покончил жизнь самоубийством. При этих-то обстоятельствах появляются признаки восстания в Болгарии. Турки поняли, что им грозит серьезная опасность, и приняли крайние меры, послав усмирять болгар отчаянных башибузуков, которые наделали там ужасных жестокостей: выжгли до шестидесяти деревень, избили до двенадцати тысяч людей, не щадя ни пола, ни возраста, – и все ради наведения панического страха на всю страну. Но вышло совсем иначе.

В английские газеты летом 1876 года проник слух о зверствах башибузуков и избиении христиан турками. В парламенте был сделан запрос об этих фактах, но Дизраэли отговорился сначала незнанием, потом недостатком времени и плоскими шутками вроде того, что сажание на кол на Востоке вовсе не считается жестокостью, и тому подобными. Тогда в среде либеральной партии появились недовольные медлительностью и апатией маркиза Гартингтона, стоявшего тогда во главе ее. А между тем парламент в августе разошелся, причем Дизраэли получил титул графа Биконсфилдского.

Гладстон не мог дольше оставаться спокойным. В сентябре он выпустил свою брошюру “Болгарские ужасы и восточный вопрос”, в которой устанавливал правильный взгляд на это дело, доказывая, что Англия должна не поддерживать и прикрывать турок в их притеснении христиан, а заступиться за подавленные народы Балканского полуострова и сделать это в согласии с Россией и другими державами, что в противном случае Россия исполнит свою миссию одна и приобретет огромное нравственное влияние среди балканских славян. Защита слабых народностей и действия в согласии с другими державами и тут оставались краеугольными камнями политики Гладстона.

Но как ни быстро расходилась изданная брошюра, Гладстон ею не ограничился, он принялся за агитацию со всей силой своего пылкого

темперамента: собирал митинги, писал статьи, буквально наводнял газеты своими письмами, рассылал сотни почтовых карт почти каждый день – и имел огромный успех. В это время английское правительство отказалось пристать к решениям Берлинской конференции русского, германского и австрийского кабинетов, а вместо того послало свой флот в Безикскую бухту; его константинопольский посланник отказался принимать меры против болгарских жестокостей, а специально наряженная комиссия представила, очевидно, недобросовестный и пристрастный отчет. Все это дало в руки Гладстона обильный материал, чтобы сделать из Балканского полуострова то, чем ему когда-то послужили неаполитанские тюрьмы. Вообще можно сказать, что ни в какой другой период своей деятельности Гладстон не был более популярен среди своих поклонников и менее терпим среди своих противников: одни считали его спасителем страны, ездили к нему на поклонение, считали всякое его слово законом, тогда как другие били окна в его доме, рычали на него в парламенте и осмеивали в печати. Что же касается его самого, то он едва ли когда-нибудь был более верен самому себе, делал меньше уступок общественному мнению и времени – и несмотря на это, побеждал; его дело росло, число друзей увеличивалось.

Все, кого турецкие жестокости возмущали (а они возмущали не одних политических соратников Гладстона), становились на его сторону. Но далеко не все они были свободны от недоверия к России. В наступательном движении русских войск в Средней Азии, в посылке волонтеров в Сербию, даже в самом болгарском восстании, вызвавшем турецкие жестокости, английское общество склонно было видеть русскую интригу. Все это заставляло его невольно ставить вопрос не так, как ставил его Гладстон – “угнетенные народы или Турция”, – а так, как ставили его тогдашние шовинисты, консерваторы, Дизраэли и его друзья – то есть “Россия или Турция”.

Вот почему, пока борьба происходила между Сербией и Турцией, общество было против последней, против своего правительства и за Гладстона. Но как только после отказа Турции принять протокол Лондонской конференции, требовавшей от нее обязательств провести реформы и прекратить преследование христиан, Россия сама объявила войну Турции, – все эти люди оставили Гладстона и перешли на сторону правительства, считая своей патриотической обязанностью поддерживать его в критические минуты и стараясь удержать от вмешательства в войну. Вот почему, несмотря на все усилия, Гладстону в это время не удалось провести в парламенте своих резолюций, требовавших от правительства не заступничества, а давления на Турцию. Но зато несомненно, что война

между Англией и Россией была отвращена в значительной степени благодаря его неутомимой агитации в прессе, в обществе, в народе и в парламенте против такого оборота дел. Всем известно, что стоил русскому народу переход через Балканы и как близка была Россия после Сан-Стефанского мира к новой войне с Англией. Во время войны Гладстон всегда и везде говорил, что поражение русских было бы несчастьем для всей Европы; а по окончании ее он утверждал, что война Англии с Россией бесцельна, и если она поведет к восстановлению Турции, то это будет таким же, если не большим, несчастьем.

Наконец, когда лорд Биконсфилд и маркиз Солсбери с триумфом возвратились с Берлинского конгресса и объявили, что они привезли “мир с честью”, Гладстон опроверг вторую часть этого заявления, разоблачив все нечистые проделки уполномоченных министров с Турцией, Грецией и даже Россией, и вообще продолжал постоянно протестовать против шовинистской политики правительства, так что когда настали выборы 1880 года, то внешняя политика Дизраэли составляла их программу. Шовинистически направленной была и Афганская война, навязанная стране, едва сумевшей избежать войны с Россией.

Выборы 1880 года были одними из самых бурных. Несмотря на усилия прежнего правительства выдвинуть на первый план ирландские неурядицы, которые требовали немедленного внимания нового кабинета, избиратели не хотели ни о чем больше слышать, кроме недавней войны и участия в ней Англии. Гладстон на этот раз выдвинул свою кандидатуру уже не в Гринвиче, а в Мидлотиане, в Шотландии, где его встречали с энтузиазмом. Его поездка туда и невероятное число митингов, на которых он произносил свои пламенные речи, составляли чуть не одну сплошную триумфальную процессию. Ему пришлось заново пересмотреть весь восточный вопрос и затем снова и снова доказывать всю нелепость положения, занятого Англией, и всю ненужность этих войн. В результате он был избран не только в Шотландии, но и в Лидсе – без его личного присутствия: вместо отца там удовлетворялись сыном Гладстона, Гербертом. Вообще же выборы дали либеральной партии огромное большинство в палате, и никто не сомневался, что главным виновником этой победы был Гладстон. По той же причине ему было поручено и составление нового кабинета, в который вошли наряду с умеренными вигами в лице Гартингтона, Аргайля и других радикалы – Брайт, Дильк и Чемберлен. Радикалы впервые были представлены в таком большом количестве.

Перед кабинетом стояли две важные задачи: помочь Ирландии и успокоить ее и разрешить затруднения на Балканском полуострове. В

Ирландии уже с 1879 года происходило сильное брожение: вследствие ряда неурожайных лет крестьянство до того обеднело, что оказалось не в состоянии платить вовремя свои ренты. Тогда начались огульные изгнания мелких арендаторов с помещичьих земель. Целые тысячи семейств оставались не только без куска хлеба, но и без крова. Началась агитация; Девиотом и Парнелем была основана *Земельная лига*. Тогда еще консервативное правительство хотело было запугать это движение, но лишь раздуло его. И вот теперь Гладстону приходилось стать между Ирландией и парламентом и добиться от последнего мер, которые удовлетворяли бы первую. Задача, как доказали последствия, почти неразрешимая. Через несколько месяцев после принятия полномочий новое правительство предложило, во-первых, расширить в Ирландии государственную благотворительность, а во-вторых, ограничить власть землевладельцев изгонять за неплатеж ренты. Первая мера прошла, а вторую меру лорды не пропустили. В ответ на это агитация в Ирландии усилилась: лидеры движения призывали не платить ренту совсем. А когда правительство усилило полицию и увеличило количество войск для исполнения закона при взысканиях и изгнаниях, начали практиковать так называемое *бойкотирование*, то есть полное отмежевание от того, кто не поддерживает Лиги и не подчиняется ее распоряжениям. Гладстон в это время заболел и должен был уехать на море. В 1881 году решено было провести новый поземельный закон, который существенно улучшил бы положение ирландских крестьян. Но и сам Гладстон, и министр Ирландии Форстер задались целью *предварительно* восстановить в Ирландии порядок, для чего нужно было провести специальный закон, наделяющий администрацию особой властью и лишаящий страну свободы. Такой мерой успех будущего поземельного акта был уже заранее поколеблен, потому что этот закон вызвал только всеобщее раздражение и никого не устрасил; все самые лучшие и влиятельные люди Ирландии таким образом отдавались на произвол полиции, и, естественно, это восстанавливало их против английской власти. Поэтому ирландские члены парламента решили сопротивляться проведению нового закона всеми силами. И точно, одно заседание по поводу его длилось двадцать три часа, а другое – двое суток и еще полдня, прежде чем билль сделался законом. Появившийся же, наконец, 7 апреля 1881 года и принятый парламентом 22 августа того же года *Поземельный акт* состоял в том, что учреждалась особая поземельная комиссия, имевшая власть назначать справедливые ренты на пятнадцать лет, а также помогать крестьянам приобретать арендуемую землю в собственность деньгами. Но положение Ирландии было не таково, чтобы

можно было примириться на этой полумере; ирландские члены отказались признать ее достаточной и продолжали агитацию. Тогда Форстер запретил Поземельную лигу, причем арестовал ее президента Парнеля и главных вождей движения. Настал период мрачного озлобления, чего Гладстон не мог долго выносить, и в мае 1882 года было объявлено, что Форстер выходит в отставку, а Парнель и большая часть его друзей освобождаются из тюрьмы. На место же Форстера назначался личный друг Гладстона и брат маркиза Гартингтона – Фридрих Кавендиш. Тогда заговорили, что Гладстон сам намерен управлять Ирландией, потому что Кавендиш – хороший и образованный человек – не имел никакой административной практики. Но не прошло и недели, как вся Англия была потрясена трагическим известием, что новый наместник Ирландии вместе со своим постоянным секретарем были убиты среди белого дня в Дублинском парке замаскированными людьми. После оказалось, что Кавендиша убили только потому, что он защищал своего спутника, против которого, собственно, и был направлен удар. Опять потребовался специальный закон, устанавливающий почти военное положение, а вслед за ним опять некоторая скидка недоимок беднейшим арендаторам. И только спустя несколько месяцев положение Ирландии немного улучшилось, и там началось более спокойное движение в пользу гомруля, или местного парламента.

Кроме этих довольно неудачных мер ирландского законодательства, в начале 1883 года был проведен после долгой борьбы с лордами важный закон о распространении избирательного права на домохозяев не только в городах, но и в деревнях, что создавало до двух миллионов новых избирателей и чем, по словам самого Гладстона, численное большинство избирателей Великобритании впервые перемещалось на рабочий класс и демократия приобретала в Англии действительный перевес. А во-вторых, был учрежден Лондонский муниципальный совет вместо давно уже отживших свой век корпораций Сити.

Во внешней политике этого периода Гладстону принадлежит честь мирного довершения решений Берлинского конгресса при помощи международной морской демонстрации в Адриатическом море, принудившей Турцию отдать Черногории Дульчино, а Греции – часть ее естественных владений. Не так успешны были другие военные предприятия этого кабинета – в Южной Африке с бурами, а в Египте – с народными движениями и их вождями, Араби и Магди. В первом случае английские войска были трижды разбиты и заслужили себе далеко не доблестную славу у воинственных голландцев. Во втором же,

руководствуясь опять-таки очень растяжимым правилом защищать народ от деспотизма его собственных вождей, Гладстон был вовлечен в бедственный и неудачный поход в суданские пустыни для освобождения генерала Гордона из Хартума. Оба предприятия опять много повредили популярности его кабинета и привели его к отставке в 1885 году. При этом королева предложила Гладстону графский титул, но он, не собираясь еще на покой в палату лордов, от этой чести благоразумно отказался: хотя при последовавших затем выборах либеральная партия и осталась в меньшинстве, но положение ее было настолько влиятельно, что при первом же обещании Гладстона ирландцам разрешить гомруль они перестали поддерживать консервативное правительство, вследствие чего оно должно было отказаться от власти. В январе 1886 года Гладстон опять стоял во главе правительства, и всем скоро стало известно, что главной задачей своего управления на этот раз он ставит самоуправление для Ирландии и проект государственного выкупа крестьянских земель. Гладстон пришел к осознанию неизбежности и совершенной необходимости этих двух мер путем горького опыта. После целого ряда неудачных попыток удовлетворить и успокоить Ирландию мерами Английского парламента он убедился, что это вещь совершенно невозможная и что окончательное замирение вековой вражды двух рас возможно только на почве освобождения одной от другой в законодательном отношении. “Или дайте Ирландии свое законодательное собрание – или вы бессильны успокоить эту страну”, – заявил Гладстон. И был совершенно прав. Правда, был еще один способ – это новые репрессалии, новые специальные законы, подобные тем, при помощи которых Англия управляла Ирландией в течение целых шестисот лет, – но этого ли хотела английская демократия? И что же? Многие из его министров, даже радикалы Брайт и Чемберлен, отказались следовать за ним. Насколько страна и сама либеральная партия мало были подготовлены к такому решительному шагу, видно из того, что не далее как в 1871 году Гладстон сам говорил в Абердине: “Неужели какому-нибудь разумному человеку придет в голову, что мы при теперешних политических условиях пойдем на раздробление наших учреждений...”, а в 1886 году он же предлагает раздробление парламента. Некоторые даже утверждают, что до декабря 1885 года сторонников этой меры в парламенте можно было пересчитать на пальцах одной руки. Вот почему Гладстону советовали подождать с ирландским гомрулем, а внести сначала только резолюцию относительно принципа самоуправления и затем начать агитацию в пользу него, пока общественное мнение не свыкнется с этой идеей. Но прежняя осторожность Гладстона, очевидно, в это время

оставила его: он настоял на своем, решился слепо рисковать и потерпел летом 1885 года решительное поражение. И вот с тех пор Ирландией опять управляет “сильная рука” английского полицейского и солдата, а гомруль ждет лучших времен, преграждая дорогу необходимому законодательству по другим вопросам и для самой Англии.

Вся эта история ирландского законодательства очень поучительна: каждый раз, как Гладстон, с самыми лучшими намерениями, пытался управлять Ирландией при помощи закона, не ею самой созданного, силою необходимости ему приходилось – по обязанности охранителя порядка – подавлять ее штыком. Отсюда Гладстон сделал конечное заключение, что страна может управляться только таким законом, который создан ею самой, а не кем-нибудь другим.

Глава XII. Личность Гладстона

Вот и вся внешняя канва жизни этого замечательного человека. Уже больше тридцати лет стоит его фигура во весь рост перед его современниками, и все-таки до сих пор трудно найти даже среди свидетелей его карьеры твердо установившийся взгляд на те внутренние мотивы, которые постоянно двигали его вперед. Спрашивается, внес ли он в жизнь своих соотечественников что-нибудь новое, свое, оригинальное? И да, и нет. Во всех своих реформах, начиная с освобождения торговли и до гомруля включительно, он стремился заменить аристократическое начало демократическим, на место привилегии поставить равноправие, вместо насилия – добровольное согласие. Но ведь это – стремление нашего века, это смысл всех перемен, совершающихся не только в Англии, но и в других странах, скажет читатель. Для того чтобы вторить “гласу народа”, не нужно быть гениальным государственным человеком, а только, что называется, оппортунистом. Так и говорят о Гладстоне его враги, видя в нем смесь Кромвеля с Гамбеттой.

Но в том-то и дело, что Гладстон почти никогда не “вторил” ничьему гласу, а угадывал его прежде, чем кто-нибудь другой из его товарищей-законодателей, и умел искусно оформить, вылить в удобоприменимую форму закона как никто другой. В этом и состоит его политический талант. Истинное же величие его обнаруживается там, где, раз почувяв “глас народа” и придя к определенному убеждению, он принимается за осуществление этого убеждения. Тут он не щадит уже никого и ничего – ни себя, ни своей партии, ни чьих-либо предрассудков; тут он становится энтузиастом, вдохновенным оратором, истинным вождем и... большею частью победителем. Да, знающие его лично говорят, что он верит в свое чутье; он колеблется, рассуждает, выслушивает возражения до тех пор, пока убеждение в нем не оформилось, но не далее того. Вот почему его товарищи по работе часто жалуются на свойственный ему деспотизм мысли, на его нетерпимость. Это – нетерпимость убежденного энтузиаста, а не упрямого деспота. Разница вроде бы небольшая, но первая строится на творчестве, а вторая обусловлена умственным застоем. Можно даже сказать: весь смысл того превращения, которое происходило в нем в течение всей его жизни, состояло в том, что “глас народа” победил его. Он не подделывался под перемены, происходившие вокруг, а был настолько цельно связан с этим окружающим, что его собственные внутренние

перемены соответствовали переменам вне его. Он сам олицетворяет собою целую нацию и понимает ее в себе. А что же такое политическая гениальность, если не это? В нем есть нечто общее с “героями” Карлейля. На него, например, до сих пор сыплются инсинуации за то, что он однажды сказал, что убедился в совершенной необходимости отмены ирландской государственной церкви, когда фении взорвали стену тюрьмы в Лондоне и совершили побег с оружием в руках в Манчестере, то есть после двух на вид очень незначительных и ничего с церковью общего не имеющих фактов, а для него они были решающими, и последствия доказали, что он был прав. Из этого, впрочем, вовсе не следует, что Гладстона нужно считать носителем и выразителем самых передовых идей своего века. Отнюдь нет. Он признает передовые идеи только тогда, когда они становятся применимыми ко всей нации, а не к одному ее слою. Но зато когда они делаются осуществимыми, он первый берется за них. Гладстон представляет собою ту среднюю линию, которая в политике и истории образуется из сложения всех борющихся сил, – но не механического сложения, а творческого. Он был самый передовой защитник теории невмешательства в экономические отношения в кабинете Пила в 1846 году; но он же был и автором Поземельного ирландского акта 1881 года, которым учреждалась комиссия для определения справедливой ренты.

Гладстон – меньше всего рутинер и доктринер, который цепляется за букву теории и пренебрегает фактами жизни. Напротив, он отличается необыкновенной жаждой к познанию; всегда сознается в своей некомпетентности по тем вопросам, которых он еще не решил. Раз Гладстон перестал верить в правоту своего дела, он уже не может защищать его и после некоторого колебания всегда открыто сознается в своей ошибке. Например, в 1882 году, выпуская ирландских патриотов из тюрьмы и назначая на место Форстера своего друга Ф. Кавендиша, он открыто сознавался, что избрал ошибочный путь и теперь решил его оставить. Нечто подобное этому случилось по окончании неудачной и противной убеждениям Гладстона Суданской кампании в 1885 году: ни им самим, ни его товарищами по кабинету не было сделано ровно ничего, чтобы предупредить поражение министерства на самом пустом вопросе. Но еще поразительнее, что он также искренен и добросовестен по отношению к врагам своей страны. Во время переговоров о мире при окончании Крымской войны, когда вся Англия была против России, он доказывал, что ограничение русского влияния на Черном море – слишком тяжелое для России требование. А в самый разгар войны называл продолжение ее ради славы безнравственным, бесчеловечным и нехристианским. Что касается

слабых государств, он всегда настаивал на самом мягком отношении к ним; национальных слабостей англичан он никогда не щадил и прекрасно их знал; *престиж* для него – непонятное слово. За такие крайне христианские, но совсем не национально-патриотические теории ему приходилось много раз страдать и терять даже в глазах своих однопартийцев; тем не менее, он никогда не отказывался от них ни для каких выгод партии или своих собственных.

Когда он дома в Говардене, у него так же, как и на службе, не пропадает ни одной минуты: он никогда не ложится раньше 11 – 12 часов, а встает и бывает готов к завтраку не позже 7 – 8 часов. Но перед этим он обязательно каждый день еще должен сходить на утреннюю молитву в свою церковь по тропинке через поле, какая бы ни была погода. Почти каждый день он ходит в свой парк с топором в руках – или валить деревья, или просто рубить и подчищать ветви. При этом он частенько повторяет, что зарабатывает свой обед. С этими упражнениями с топором в руках связано множество анекдотов. Например, один провинциал, приехавший в Говарден на поклонение Гладстону-министру, видит в парке какого-то старика, работающего топором, в одной фланелевой рубашке, со спущенными подтяжками, и обращается к нему с каким-то банальным замечанием о его работе или о погоде, а потом, желая воспользоваться советом местного человека, спрашивает у него, как тот думает, сможет ли он увидеть сегодня Гладстона, на что лесник отвечает обыкновенно утвердительно и направляет посетителя в наиболее удобное для этого место. Или какой-то извозчик с возом железа просит “старину” подсобить ему поднять воз на гору и потом, когда это общими усилиями сделано, предлагает ему отправиться в ближайший кабачок выпить кружку пива. Гладстон, конечно, отказывается. А когда извозчик потом открывает, кто был пособлявший ему “старина”, и приходит извиняться, Гладстон его успокаивает, что никаких извинений не требуется, и все в таком роде. Один бедный фотограф, приехав в Говарден, выпросил позволение у Гладстона снять его как он есть в своем рабочем виде дровосека, со спущенными подтяжками, и потом распродал этих фотографий уже в самом Говардене приехавшим туда поклонникам Гладстона на полтора рубля, а потом и на несколько тысяч.

А однажды, например, один бирмингемский столяр обратился к Гладстону с письменной просьбой, чтобы тот дал ему кусок срубленного им самим дерева по случаю женитьбы его сына, которому он из этого дерева сделает какую-то вещь. При этом прибавляется, что он, столяр, всю свою жизнь был истинным либералом, и так далее.

Но не в одном политическом чутье и не в одной искренности сила Гладстона. В своем умении работать он не находит себе равного. Еще на школьной скамье, редактируя *Eton Miscelany*, он удивлял всех товарищей своими рабочими способностями. Все его бюджеты всегда были предметом удивления для палаты не только по их финансовым достоинствам, но и по быстроте, с которой они изготовлялись в совершенно законченном виде. Все его литературные работы выполняются необыкновенно быстро. В парламенте до глубокой старости он пересиживает молодых. Самое обыкновенное его занятие в палате во время дебатов – писание писем; только в очень важных случаях он отдает все свое внимание тому, что говорится; большей же частью держит на коленях книгу и на ней пишет письма, часто очень длинные. Но напрасно подумал бы какой-нибудь молодой оратор, что Гладстон его не слышит: стоит неправильно процитировать слова премьера или исказить его мнение, как он уже отрицательно качает головой и вопросительно через очки смотрит на оратора. Его парламентские речи обыкновенно разработаны до мельчайших подробностей, что в соединении с его всегдашней искренностью и принципиальностью делает их такими убедительными, как ничьи из речей известных английских ораторов. Правда, они большей частью страдают многословием, что делает их в печати неудобочитаемыми, но на трибуне, по общему отзыву, нет более влиятельного оратора.

Гладстон вовсе не богат; замок Говарден со своими землями – родовое имение и принадлежит его детям, хотя он может жить в нем пожизненно. Так что старику Гладстону приходится жить на свою пенсию. Даже гонорар за его журнальные статьи составляет для него серьезный расчет, так как, конечно, журналы платят ему не в пример прочим сотрудникам. Несколько лет тому назад он объявил, что средства не позволяют ему вести всю его огромную корреспонденцию в закрытых письмах, и потому он просит своих корреспондентов извинить его раз и навсегда за почтовые карты. С тех пор “гладстоновские почтовые карты” превратились в стереотипное выражение, так много их он рассылает по всей стране. Кто бы ни написал к нему, он всем отвечает. Бывали случаи, что к нему писали школьники, например, один указал ему ошибку в его тексте Гомера, – Гладстон сейчас же отвечает признанием ошибки, и так далее.

Популярность Гладстона часто доходит до смешного: иногда, особенно летом, в Говарденский парк приезжают буквально одна за другой компании гуляющих по сто – двести человек, которые все хотят видеть маститого вождя и услышать от него спич хоть в несколько слов. Так что часто приходится на ближайших станциях железной дороги вывешивать

объявления, что после такого-то числа экскурсии в парк не допускаются, чтобы дать возможность самому владельцу гулять, рубить деревья и дышать свежим воздухом без опасности быть застигнутым сотнями любопытных поклонников. А то было раз, что экскурсанты, в силу чисто английской любви к сувенирам, начали отламывать кусочек по кусочку камешки от стен замка... Пришлось поставить караульного, который показывал бы им парк и замок.

Бывают у Гладстона и прихоти. Так, например, рассказывают, что у него есть страсть покупать себе шляпы самых разнообразных сортов и фасонов, доходящая до того, что миссис Гладстон приходится потом рассылать их обратно по лавкам. Или у него иногда является страсть составлять разные коллекции – китайского фарфора или старых бриллиантов и слоновой кости. Одна такая коллекция подарена им Кенсингтонскому музею в Лондоне. В этих случаях, как и в заботе о своем здоровье, он считается невменяемым, и миссис Гладстон исполняет роль его самой усердной и аккуратной няньки. Нередко она увозит его из парламента, чтобы заставить отдохнуть, а то он сам может и совершенно не вспомнить об этом.

Что касается некоторых личных свойств характера, то о них говорить еще преждевременно, потому что его друзья и знакомые пока не рискуют писать о них. И если нам что-нибудь известно в этом отношении, то большей частью из дневников двух или трех его уже ушедших из жизни друзей.

Остается в заключение сказать об одной очень важной черте характера Гладстона, которую многие считают в нем самой выдающейся и даже руководящей, – это его религиозность. На этом, например, построена недавно появившаяся прекрасная, можно сказать во многих отношениях лучшая, биография его, написанная его личным знакомым Росселем. Несомненно, что Гладстон очень религиозный – и искренно религиозный – человек и что он принадлежит к известному классу английских крупных политических деятелей из духовного звания, кардиналов и епископов. Несомненно, что в его глазах все, что он ни делает, так или иначе должно иметь и имеет религиозно-нравственное освещение; что его всегда безотчетно тянет к дебатам и вопросам религиозного характера; что даже знаменитый немецкий теолог Долинггер, у которого он жил с неделю, считал его лучшим теологом в Англии; наконец, что он даже был готов уже вступить в духовное звание по окончании университета, или, лучше сказать, Оксфордской духовной академии, и попал на министерскую скамью парламента вместо архиепископского кресла в Кентербери только

благодаря желанию своего отца. Все это так. Но тут есть и другая сторона.

Он никогда не имел ни на кого сильного религиозного влияния, а, напротив, сам находился под влиянием более сильного религиозного темперамента Гона-Скотта, и когда последнего не стало, клерикализм Гладстона начал явно ослабевать. Между тем как с другой стороны он имел громадное политическое и нравственное влияние на множество людей нескольких поколений, на всю свою страну, можно сказать на весь цивилизованный мир. Что же это значит? Нам кажется, что объяснение этому можно найти в том, что Гладстона вдохновляла, будила в нем творческие струны не чистая религия, а воплощение христианской нравственности в общественных учреждениях и законе. Добродетель в политике – так можно коротко выразить то главное, чем живет и движется этот человек, то, что он больше всего ценит в жизни и на что он потратил больше всего сил и времени.

25 июля 1892 года^[3]

Источники

1. *George Barnett Smith*. The Life of the Right Hon. W. E. Gladstone M. P. etc. London, 1890.
2. *George W. E. Russell*. The Right Hon. W. E. Gladstone. London, 1891.
3. *Lewis Apjohn*. William Ewart Gladstone. His Life & Times. London, 1880.
4. *J. B. Richards*. Gladstone's Schooldays Temple Bar 1883.
5. Earl Russell's Recollections and Suggestions. London.
6. Justin Mac Carthy's History of Our Own Time. London, 1889.
7. Сочинения и речи самого *Гладстона*.
8. "The Eton Miscellany". Eton, 1827.
9. *E. H. Hill*. Political Portraits. London, 1873.
10. *K. H. Hutton*. Studies in Parliament. London.

notes

Примечания

1

любитель, знаток, охотник до чего-либо (фр.).

Протестанты в Ирландии составляли только одну десятую часть населения, а платить на содержание протестантского духовенства и церкви должны были все.

После написания биографии А. Каменским Уильям Юарт Гладстон прожил еще шесть лет, он скончался в 1896 году.